

**Сергей Коровин, Павел Крусанов, Максим Белозор,
Владимир Шинкарёв, Владимир Ольгердович Рекшан
Синяя книга алкоголика**



А_Ch
«Крусанов П. Синяя книга алкоголика»: Амфора; Спб.; 2006
ISBN 5-94278-990-8

Аннотация

Под обложкой «Синей книга алкоголика» собраны тексты, в которых алкоголь является одним из главных действующих лиц повествования. Издавна ему поют хвалу и издавна его осыпают проклятиями. Что же такое алкоголь – безусловное зло или дарованное человеку чудо, смысл которого пока для нас скрыт? Каждый из представленных в сборнике авторов на себе испытал всю мощь чар и ярости коварного духа, носящего имя spiritus vini, каждый прошел через его обольщение и выстоял. В результате одни навсегда отказались от него, другие взяли его в союзники.

Павел Крусанов (составитель) Синяя книга алкоголика

Людей много и тяжело пьющих в России называют «синяками». Поэтому – «Синяя книга». Веселье и тоска смешаны под пробкой воедино – это знали Анакреонт и Хайям, Гаршин и Куприн. Хемингуэй и Фолкнер. Всякий, кто хоть раз в жизни испытал на себе этот обольстительный недуг, найдет, где улыбнуться, а где поскорбеть над страницами «Синей книги». Не отставайте – ее уже прочитала многомиллионная интернациональная армия алкоголиков земного шара.

ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ И НОУМЕНАЛЬНОЕ: АЛКОГОЛЬ (Вместо предисловия)

Стенограмма беседы, прошедшей 28 апреля 1994 года на квартире у Евгения Звягина. Участвовали: Евгений Звягин, Павел Крусанов, Александр Секацкий, Сергей Коровин, Андрей Левкин. Присутствовали еще три человека, в дискуссии участия не принимавшие.

КРУСАНОВ. Мы открываем тему под условным названием «Алкоголизм».

ЛЕВКИН. Паша, что ты имеешь в виду под словом «алкоголизм»? Речь идет об алкоголизме, пьянстве, напитках как таковых, проведении времени, о вещах, которые возникают в результате?

КРУСАНОВ. Тема широка. Надо бы сузить. Сегодня я хотел бы рассмотреть опьянение как демонстрацию независимости низшего порядка. Начинать мне, пожалуй, не следует, поскольку наитие меня пока не посетило.

ЛЕВКИН. Допустим, что пока не посетило. Но в постановке темы уже есть большое количество сомнительных пунктов. В том числе и сама степень низшего порядка чего-то. Я понимаю, что вопрос с книжной зависимостью ты уже решил...

КРУСАНОВ. Это тема отдельная – наркотик из целлюлозы и типографской краски... «Освобождение от книжной зависимости» – предмет особый, с сегодняшним не связан никак.

ЛЕВКИН. Позволь, но поскольку ты пока находишься во невдохновленном состоянии, то этот момент очень важен: человек задает тему, но не находится в состоянии вдохновения по ее поводу. И вообще, какая независимость здесь предполагается?

КРУСАНОВ. А черт ее знает. Просто такая штука, за которую можно уцепиться и вытягивать мысль из головы до невозможной в предметном мире бесконечности.

СЕКАЦКИЙ. Раз уж мы претендуем на какое-то обобщение, я хочу сказать нечто с точки зрения феноменологии алкоголя и модуса пребывания в алкоголе. Ну, во-первых, мы исходим из того, что это, очевидно, измененное состояние сознания. Почему-то мы его добиваемся, воспроизводим. Вопрос желаемости этого измененного состояния сознания – немножко другой. Я же хочу остановиться вот на какой вещи. Традиционно считается, что алкоголизм, то есть переход в это измененное сознание, есть, некоторым образом, действительный уход от ответственности – от зависимости, но и от ответственности тоже. То есть мы противопоставляем выпивку и момент чистой рациональности, думая, что они разные, что они друг другу враждебны. Можем даже иногда воспринять алкоголь и нашу к нему причастность как бунт, протест против чрезмерно рационализованного мира.

КРУСАНОВ. Да. Против бытового и социального моментов ангажированности.

СЕКАЦКИЙ. А я думаю, что это только на первый взгляд. И вот в чем дело. Я пришел к выводу, что алкоголь есть на деле абсолютная защита рационализации в этом смысле. И вот почему. Представьте себе, что мы бы не имели духа спиритуса вини как одного из великих одухотворяющих духов, не знали бы этого способа перейти в измененное состояние сознания, что тогда? Поскольку драйв, то есть тяга к переходу в измененное состояние сознания, всегда присутствует, то если у нас нет простого и доступного химического пути, начинается более длинный изуверский путь. Вот секты – трезвые, непьющие – их очень много: но никто же не доходит до такого изуверства и насилия над рациональностью, как они. В чем дело? Они отрезают себе короткий и легкий путь, в котором все видно сразу. Где видно то, чего бы ты хотел достичь: просветления, помрачения. Но поскольку они не признают этого легкого пути, они вынуждены делать очень длинный кружной путь, который и оказывается изуверским и гораздо дальше уходит от реальности, рациональности, чем наш такой традиционный способ мгновенного изменения химизма крови и пребывания в модусе а-ля алкоголь. Стало быть, мы неожиданным способом фиксируем алкоголизацию и алкоголизм в качестве некоторого страховочного агента рациональности, как нечто, что-то, что страшит от бесконечных экспериментов над сознанием, чтобы достичь того же самого, но другим путем. У Розанова есть одно наблюдение...

ЗВЯГИН. Я хотел бы уточнить, что ты подразумеваешь под словом «алкоголизация», поскольку она в наше время имеет разные толкования. Личного организма или же общественного?

СЕКАЦКИЙ. Сейчас я понимаю только одно – стремление изменить состояние сознания. В духе технологии ИСС. Только так. Это такое минимальное феноменологическое понимание, потом мы можем его раскинуть как угодно. Ну вот, Розанов, который описывает секту хлыстов, приводит любопытное сопоставление. После наиболее крутых радений, когда они входят в экстаз, возникает неожиданное сопоставление... Сопоставление с «пивушком». «Ох, хорошо было пивушко» – духовное пивушко, а мы-то видим, что это далеко идущая аналогия, не просто

условное сравнение, но реальная замена «эрзаца». Другое дело – что тут есть эрзац? С определенной точки зрения – алкоголь. Но мы можем и иначе поставить вопрос. Поскольку выпивка есть наиболее легкий, человекообразный путь, в котором мы видим ИСС сразу, входим в экстаз сразу, а завтра из него выходим и потом снова входим в него, тем самым мы сберегаем себя для какой-то рациональности. А они своим длинным кружным путем «духовного пивушка», они дальше удаляются от нее. То есть я хочу подчеркнуть здесь такой нетрадиционный аспект соотношения рациональности и алкоголя. Ведь первоначально это был какой-то авангардный модус бытия. То есть человечество, которое начинается... начинающееся с психоделики, с грибов, – по мнению современной антропологии – постепенно уклонилось как раз в эти длинные кружные пути. Изобретение алкоголя стало страховочным агентом рациональности. Зачем я буду верить всем этим длинным шаманским пляскам, ритуалам и учителям-гуру, когда они мне обещают то-то и то-то? Я могу это сделать гораздо проще. Вот мои друзья, вот обстановка, вот рюмка, я изменяю химизм крови и вхожу в это состояние. Тут, конечно, нужно свое мастерство, об этом, наверное, мы еще поговорим, во всяком случае, тем самым уменьшается доставаемость нашего сознания длинными изуверскими способами изменения сознания. Неожиданным образом алкоголь, оказывается, становится гарантом рациональности как таковой.

ЛЕВКИН. Прошу прощения за бытовизм, но алкоголь стоит на любом углу, и, говоря об ИСС, рациональности и иррациональности, приходится подумать и о том, что он есть продукт той самой рациональности, для которой естественно стараться закрыть все щелочки выхода в свою противоположность, предоставив единственную возможность перейти в ИСС – именно этим путем. Я говорю о возможности подмены: это, скажем, не ИСС, а его имитация, которую устраивает рациональность. И есть свой механизм в обществе: вытрезвители, менты, пиво с утра. Для ИСС что-то уж слишком общественно культивируемая рациональность измененных состояний. Почему мы должны верить в то, что этот путь – потому что он самый простой – правильный?

КРУ САНОВ. Нет, мне кажется, что Александр отметил этот момент верно. Я бы хотел добавить, что алкоголь позволяет нам действительно простым путем добиться повторяемости внеположное™. Повторяемость, ритуализация, ритуал жизни, в котором ты постоянно попадаешь во внеположность. Ты выходишь из бытовых и социальных закрепощенностей и именно что демонстрируешь свою суверенность.

ЛЕВКИН. Тогда другой вопрос, но тоже бытовой. Отлично, человек выпивает, переходит в область жизни своих тараканов, заморочек, независимости, о которой говорит Крусанов, и тут возникает очень странный социальный момент. Вот когда кого-то спрашивают о ком-то:

что, дескать, он за человек? – то бывает такой ответ: «Не знаю, я с ним не пил». То есть для того, чтобы перейти... требуется всем уйти к своим тараканам, и именно тогда все становится реально социальным? Как ты это объяснишь?

КРУСАНОВ. Сейчас, я выпью.

ЗВЯГИН. Можно тогда я? Меня несколько насторожила в достаточно блестящей речи Александра такая терминологическая точность или неточность – не могу определить, – во всяком случае, меня зацепило его высказывание насчет изобретения алкоголя. Я знаю, что у хлыстов были изобретенные Христы и Богородицы, ну это понятно, потому что в большинстве сект радения носят не духовный, а душевный, имеют не возвышенный, а оргиастический характер... Но насчет алкоголя я бы не стал так смело выражаться, потому что хотя бы, что он был, как мне кажется, не изобретен, а дарован.

ЛЕВКИН. А как ты себе представляешь момент этого дарования? Перегонный куб падает...

ЗВЯГИН. Нет, ну, скажем, скис виноградный сок, первый человек выпил первый сок, и, если брожение было не уксусным и не гнилостным, оказалось, что ему хорошо. Вот и все. Наверное, рано скажу, но не стоит забывать, что евхаристия без вина как-то не обходится. Это и говорит о том, что даровано, а не изобретено.

ЛЕВКИН. Итак, констатирую для начала. Во-первых, измененное состояние сознания – это хорошо. Это то, чего хочется. Во-вторых, не является ли алкоголь, короче... ну вот есть на Литейном, что ли, магазинчик, где утки подсадные, пластмассовые. Как мы можем знать – это

то, что нам надо, или же это просто то, что нам «даровали», чтобы мы дальше не лезли?

ЗВЯГИН. Понимаешь, в чем дело. Измененное состояние сознания, состояние опьянения – это вопрос о том, воистину ли мы живем, бодрствуя или же спя. Истинно ли мы подлинны в алкоголе или в трезвости. Не является ли состояние... ну, не полностью алкогольного опьянения, являющегося плодом неводержанности, а состояние, когда человек приподнят, хорош, – не является ли это состояние подлинным, а состояние похмелья или полной и безоговорочной трезвости – измененным состоянием?

КРУСАНОВ. Если сформулировать все в крайнем отношении, то возникает вопрос: в каком из двух состояний мы являемся заложниками небытия? Вы об этом?

ЛЕВКИН. Нет, немного о другом. Не подсовывают ли нам какое-то другое небытие: карманное, картонное, выдуманное для наших нужд, чтобы мы не сунулись в другую щелку, которая гораздо интересней?

КРУСАНОВ. Если мы начнем разговаривать о других щелках, то их окажется очень много. Давайте ограничим тему и не будем из нее выходить. Понятно, что трудно усидеть на этой жердочке, но следует над собой работать.

СЕКАЦКИЙ. Поскольку возникли некоторые вопросы, тут есть о чем подумать... Вот ИСС – хорошо или плохо? Здесь надо исходить из того, что это какой-то изначальный драйв. Мы предполагаем, что, находясь в состоянии А, мы хотим перейти в состояние сознания Б. Ибо таков человек и мир устроен так. Причем, что любопытно, эти сознания могут постоянно меняться местами. Вот – мы говорим для себя – решения принимаются на трезвую голову. И принятие ответственных решений, по идее, принципиально разлучено с алкоголем. В то же время для архаических обществ Северной Америки существовала прямо противоположная вещь. Когда им нужно было принять решение, они курили свою трубку и пили свой вариант нашего алкоголя. Для них было бы абсурдно принимать решение на трезвую голову, поскольку решения всегда принимаются в ИСС – в ином состоянии, чем обычное.

КРУСАНОВ. Аналог этого – вопрошание пифии. Судьбу, приговор формулирует человек, находящийся в ИСС, хотя алкоголь здесь, пожалуй, ни при чем.

ЛЕВКИН. А что такое решение? Есть жизнь, и она требует каких-то решений. А в таком случае какая жизнь здесь строится: состояния рационального или же состояния измененного? Может, находясь в этом месте, мы себе строим жизнь в измененном... С ней же тоже надо как-то ладить.

СЕКАЦКИЙ. Дело не в этом. Важно, что это другое. В чем еще сила алкоголя? В том, что это самый сильный способ перехода в другое. А остальное... успех... ну что такое успех – опьянение победой, опьянение успехом. Это же характерное сравнение. Где сам эталон? Опьянение как таковое. А все остальное – сопоставление с алкоголем. И в случае изменения химизма крови мы приходим туда, куда хотим. Я это рассматриваю как изначальный драйв: желание быть другим. А чем он еще красив и хорош – там всегда есть момент непредсказуемости: мы никогда не можем вычислить те площадки, на которых окажемся вдруг. Это может быть, например, чудовищно, позор и блеф, а может быть прекрасно. Но это даже не важно. Мы выступаем в данном случае как разведчики.

Я думаю, что несчастные алкаши, доживающие где-то свой век, они есть разведчики авангардного модуса бытия. И они как бы наша плата за отсутствие техники безопасности, потому что техника безопасности всегда запаздывает. Как в случае с атомными реакторами. Они теперь дают нам энергию, но первые люди обычно погибают. Так и здесь – благодаря существованию легкого перехода мы спасаемся от необратимости длинного, но в результате просчетов в технике безопасности есть аутсайдеры, которые отбрасываются, да и мы все равно тоже рискуем, потому что не знаем, где окажемся.

ЛЕВКИН. А как ты для себя определяешь эту технику безопасности?

ЗВЯГИН. Мне кажется, что с алкоголем обстоит так же, как и с любой функцией организма, потому что обжоры, блядуны и так далее, они ведь тоже нарушают технику безопасности. Вряд ли это стоит относить только к алкоголю. Тут можно говорить о какой-то внутренней психологической стабильности, которая позволяет человеку прекратить есть или, скажем, трахаться все время.

КРУСАНОВ. Александр, периодически повторяя слова «изменение химизма крови», как

бы убирает из рассмотрения метафизический аспект. А его следовало бы учесть. Химия, физиология, Павлов – это все понятно, это все существует, но давайте изменим ракурс, посмотрим с крыши. Что мы видим? Мы видим силу, которая чудесным образом прокладывает метафизические трубы в завтра и отсасывает через них понятие «энергетика» в наше сегодня. Оттого сегодня: слева – пол-литра, справа – гармонь, нечеловеческая способность к восторгам и желание всех женщин – в одни уста, а завтра веки разлепляешь пальцами и любая вещь тяжелее кружки пива кажется поставленной на свое место пришельцами. Наркотики и лекарства действуют весьма похоже. Выкачивая по этим неведомым идеальным каналам витальную силу в сегодня, мы образуем в своем будущем как бы пустоты, которые, впрочем, таковыми, скорее всего, не являются. Они тут же наполняются каким-то свежим бытийным содержанием. Природа вроде бы пустоту не уважает.

СЕКАЦКИЙ. Скажу одну простую вещь. Мы почему-то думаем, что это такая большая плата – похмелье и все, что с ним связано, – ужас воспоминаний о вчерашнем дне. А какова степень расплаты за более длинный путь? Крушение идеалов, предательство учителя, разочарование, которое может кончиться смертью. Помнишь этот коротенький анекдот, когда женщина в автобусе говорит: «Вы же пьяный, как вам не стыдно». А он говорит: «А у тебя ноги кривые. Вот я завтра просплюсь, а ноги у тебя останутся». Он проспится, а тот адепт, кто пошел длинным путем, кто верит в спасение, предложенное сложной структурой учителя-гуру? И разочаровывается? Нам кажется, что нам тяжело, а это минимальная плата. Этот путь дает нам возможность еще раз все повторить и вернуться назад невредимыми...

КОРОВИН (незадолго до того подошедший). С одной стороны, я предполагал, что такая тема не может обходиться без иллюстративного материала. Но с другой, воображал идеальный образ такой компании, где мы все сидим, поджав ножки, и беседуем за чайным столом. Я что хочу сказать? Ну, во-первых, определить, что такое личность и алкоголь, какие у них могут сложиться отношения? И каково участие алкоголя в судьбе личности? Мы можем здесь отбросить крайние случаи, когда алкоголь приводит к изменению личности, однако в принципе любой человек, если он не полный мудозвон – как у Ерофеева – не деляга и не посредственность, он непременно стремится к самосовершенствованию. В поисках каких-то рычагов он пытается найти какую-то кулису, которая позволяет ему переключить передачу, потому что он стремится к изменению своей личности в лучшую сторону. Или в худшую. Смотря по задачам: кому-то хочется в баню, а кому-то поваляться в говне. Потому что вряд ли найдется за этим столом человек, который заявил бы, что я-де родился самодостаточным, я – идеал для современников и воплощенное совершенство.

ЗВЯГИН. Почему же не найдется? Я думаю, что найдется.

КОРОВИН. Кто же у нас тут такой мудозвон, деляга и посредственность? Что-то я не вижу. Но... Саша в чем прав? Люди, которые действительно перешли эту грань, они напоминают мне людей, бесконечно медитирующих. Ведь человек, оказавшись по ту сторону...

СЕКАЦКИЙ. Они как летчики-испытатели, разведчики авангардного модуса бытия, понесшие абсолютную полноту наказания.

КОРОВИН. Дело не в наказании. Может, это путь к спасению. Иное дело, что поскольку есть еще социальные моменты... я предлагаю оставить их сегодня за скобками и никоим образом не обсуждать.

КРУСАНОВ. Парадоксы христианского сознания – гибель и есть спасение.

ЗВЯГИН. Можно ли назвать разведкой процесс, который продолжается пять-шесть тысяч лет?

КРУСАНОВ. Конечно можно, ведь исследование этой терры продолжается. Наш стол тому подтверждение. И запрет на посещение метро в пьяном виде тоже тому подтверждение. Мы не знаем, чего ожидать, – это бесконечная разведка.

ЗВЯГИН. Ну, не совсем уж мы не знаем, чего ожидать. Подчас приготавливаем себе на утро бутылку пива.

КРУСАНОВ. Это другое. Мы предполагаем появление отсветов и зарниц, а само состояние опьянения таинственно, ибо оно предполагает освобождение от многих уз, в том числе от всевозможных вех и расписаний, по которым его можно вычислить. У нас с тобой есть общий знакомый, Мурад, который, когда начинает пьянку, а они у него обыкновенно затяжные,

называет это так: он садится в «Б-52» и летит на задание. Эта иллюстрация удачно корреспондирует с тем, о чем говорил Александр, – с разведкой, возможно, даже с боем на чужой территории. Это вещи одного порядка.

СЕКАЦКИЙ. Процесс ректификации спирта был изобретен совсем недавно. Он насчитывает всего шесть столетий. Те напитки, которые пили древние греки, – ими же невозможно было напиться. Ну если и напивались, то это было что-то другое.

КОРОВИН. Господа! Неужели вы думаете, что китайцы, бог весть когда изобретя порох, не изобрели перегонный куб? Мне кажется, что там это появилось одновременно. Но вы посмотрите, мы сейчас живем в эту последнюю югу. В кали-югу. Самое любопытное, что три предыдущие прошли на Земле, когда там не было человека. С появлением человека наступает последняя стадия. И вот всякое наше погружение это действительно как разведка: мы заглядываем – что там в конце?

ЛЕВКИН. Постоянно длящаяся разведка. Все постоянно ходят куда-то вбок. Но где, простите, скажем, глобус этого пространства, его топографическая карта? Все, кто уходит в разведку, они либо не возвращаются, либо же не могут сообщить ничего по части кочек, речек, городов.

СЕКАЦКИЙ. Могут. Мы думаем, что ничего не достигаем, кроме странного времяпрепровождения. Но давай сопоставим факты. Я называю это силой отложенного соблазна. Есть такая странная вещь. В этом смысле Европа ушла очень далеко не столько своей техникой, сколько в том, что у нее почти нет отложенных соблазнов. Нации, которые впервые сталкиваются с алкоголем, не знают этого. Этот соблазн был для них отложен. Они умирают от него почти поголовно и мгновенно. Спившиеся алеуты, чукчи. А у европейцев – многовековой тренаж. И они несут в себе эту силу разведки и устойчивость против соблазна, и они опустошают те уголки, где никто не знает соблазна алкоголя. А неофит, новообращенный, у кого нет соблазна, – погибает мгновенно. Расскажу один почти архетипический пример. Когда один мой знакомый, большой любитель выпивки, устраивался на шампанкомбинат в Бишкеке, директор спросил его: «Ты пьешь?» Он долго думал и сказал «Да». И его взяли. А если бы он сказал «Не пью»? Директор был опытный человек и понимал, что когда человек не пьет, ибо осторожен, и попадает в место, где море алкоголя, он моментально погибает, спивается. Для него это отсроченный соблазн, у него нет опыта разведки.

КОРОВИН. Когда Швейк попал к фельдкурату Кацу, первый вопрос был: «Швейк, вы водку пьете?» И он ответил: «Никак нет, только ром!»

ЗВЯГИН. И есть мусульманский путь отказа от алкоголя.

КРУСАНОВ. Не от алкоголя, а от виноградной лозы. Про водку в Коране ни слова, и потом они освоили заменители – культура конопли, мака...

ЗВЯГИН. Говоря об алкоголе, мы то есть говорим только о взогнанном, об очищенном... о водке, что ли?

КРУСАНОВ. Мы говорим... в широком смысле. Вот еще, Сергей, ты упомянул юги, которые были до человека. Я смотрел год назад...

КОРОВИН. Человек тогда уже был.

КРУСАНОВ. В известном смысле – да, и был по ТВ такой сюжет из животного мира, как в саванне, где-то на границе с экваториальным лесом, вызревают плоды, очень сочные, опадают и бродят сами по себе. Их едят слоны, павианы, жирафы – их едят все, и это заснято: животные качаются, они... они... они торчат!!! Выходит, алкоголь был дарован не только человеку, но и слону, чтобы и он, по Левкину, не вздумал лезть в иную щелочку.

СЕКАЦКИЙ. Я читал некое исследование такого Сергея Корицина, его книгу «Тигр под наркозом», и там сказано, что сравнение «пьяный как свинья» – в высшей степени реалистичное наблюдение, потому что свиньи ходили и жрали всякие перебродившие тыквы.

КОРОВИН. Когда я видел свиней, опьяненных картошкой, когда эти смеющиеся свинарки...

КРУСАНОВ. Значит, даже свиньи ходят в разведку и демонстрируют суверенитет.

КОРОВИН. Я-то подумал, что это плоды уже нынешнего положения вещей.

ЗВЯГИН. Я хотел бы задать вопрос о том, является ли опьянение животных поиском?

КОРОВИН. Нет, Женечка, опьянение – это совершенно нормально, это в природе живого

организма. Я могу сказать, что ни одно общество не достигло высот, если в его рационе не было алкоголя. Что стоит у колыбели человечества? Хлеб, сыр и алкоголь.

СЕКАЦКИЙ. Более того, общество, в котором не было алкоголя, погибало от переизбытка абсурда.

ЛЕВКИН. К примеру?

СЕКАЦКИЙ. Инки, например. Они знали только свои грибы сушеные и трубочки. Они погибли, потому что у них не было гаранта рациональности.

КРУСАНОВ. Они не сами погибли, их же того... А потом, они все поголовно жевали листья коки.

СЕКАЦКИЙ. К моменту прихода конкистадоров там были одни руины, в смысле культуры и государственности, почему их так легко...

ЗВЯГИН. Тут возник интересный вопрос: мы отделили употребление алкоголя и вошли в область кайфа.

КРУСАНОВ. Андрей, ты выйди из образа ведущего и войди в образ докладчика.

ЛЕВКИН. Это сложно, потому что меня интересует момент опять чисто бытовой. Вот мне непредсказуемость очень нравится. Она тут возникла в качестве некоторого побочного хода. Но ведь в принципе ты, конечно, понимаешь, когда тебя это настигнет, что это может настигнуть в любой момент – в зависимости от какого-то встреченного человека, но каждый раз это все равно неожиданно.

КРУСАНОВ. Вчерашний день – тому пример.

ЛЕВКИН. Вчерашний день тому полный пример, позавчерашний, ну, сегодняшний не очень... Вот я действительно хочу как ведущий спросить у Саши – эти случаи порождаются нашим желанием их или же, напротив, это вариант такого почти испытания?

КРУСАНОВ. Можно я? Потому что об этом уже говорил. О ритуализации. Жизнь же держится на повторное™ явлений. Чтобы что-то существовало, это должно быть введено в какую-то повторяемость. В данном случае алкоголь – элемент ритуала выхода в другое сознание. Это важнейший ритуал постлитургического бытия, он позволяет нам победить Фрейда – судьба перестает быть воплощенным в истории неврозом.

ЛЕВКИН. Давайте порассуждаем на тему скорости и времени езды. Есть простая логика в том, что не стоит менять партнеров по выпиванию внутри одного дня. У тебя поезд уже ушел далеко, а у них только поехал. И не надо начинать с ними их историю. И момент улавливания этого несоответствия не имеет характер релейного щелчка, а длительный: нам тебя не догнать... Отъезд-то происходит реально, в рациональном сознании он отмечается всеми присутствующими, которые точно так же рационально понимают, что да, в другом поезде человек... А как может переход в иное состояние быть таким видным с перрона?

СЕКАЦКИЙ. Я вдруг вспомнил одного своего друга – жаль, что его тут нет, это Володя Юмангулов, и он для меня в этих вещах много открыл. Кажется очевидным момент удовольствия: вот мы собираемся вместе, и мы такие, и такие, и момент вспышки и всеобщего панибратства бьет в одну и ту же точку вместе с алкоголем. Но с другой стороны, мы знаем англосаксонскую традицию, в которой каждый молча отхлебывает от своей бутылки и ставит ее на подоконник. Но меня очень удивили движения того же Володи: вот накрывается стол, медленно все ставится, и он говорит: «Пойдем незаметно выпьем». И мы идем куда-то, а на столе стоят бутылки – сколько угодно, пей сколько хочешь. А мы идем куда-то и выпиваем по глотку в закутке – возвращаемся и: «Представляешь, никто ничего не заметил!» А потом он развивал еще один проект, до сих пор загадочный для меня: «Представляешь, изобрести бы такой напиток, который – вот ты его сегодня выпьешь, а он, скажем, действует через девять часов или через двадцать». А я не понимаю – зачем? Он говорит: «Нет, ты не понимаешь, ты еще не на той точке. Это же класс: мы выпиваем, идем и знаем, что через двадцать часов оно сработает – секунда в секунду».

КРУСАНОВ. Ну вот мы сейчас сели в один вагон. Но что удивительно: сев в один вагон, по странной розе ветров мы все окажемся в совершенно разной географии.

ЛЕВКИН. Вот это вряд ли, потому что она будет все равно более-менее – если в одном поезде – разниться в деталях.

КРУСАНОВ. Будет совпадать по последствиям, а сам процесс будет совершенно

различным. Едут люди в вагоне и молчат, но все молчат о разном.

КОРОВИН. Вот этот рассказ о тайном моменте... Есть два разных по характеру способа употребления: ритуализированный и уход от ритуала, к более привычной нам форме употребления алкоголя – чисто коммуникативная функция. Когда мы с Сашей встречаемся и, переговорив пять минут о здоровье, идем и запрокидываем по сто грамм. Это, скажем, некоторая эстетическая эмиграция. Мир весь остальной отодвигается на свое место, а мы – на своем. Почему люди вообще объединяются?

КТО-ТО. Чтобы выпить.

КОРОВИН. Правильно. Но для чего они это делают? Они же объединяются... для чего объединяются друзья, супруги, любовники? Потому что они нуждаются в отдыхе. Потому что мы живем в волчьем мире, где действуют волчьи законы. А здесь они не действуют. Это совершенно закрытая сфера. И она будет существовать до тех пор, пока законы внешнего мира не проникнут внутрь.

КРУСАНОВ. Совершена петля, и мы возвращаемся к началу разговора – тебя, Сергей, тогда не было. То есть возвращаемся к освобождению от бытовой и социальной ангажированности, к опьянению как демонстрации независимости определенного порядка. Мы оценили скрепление в некий маленький союз – вещь почему-то людям в жизни необходимую.

ЗВЯГИН. Ну, мне хотелось бы сказать о другом. Сережа упомянул тут коммуникативные функции алкоголя. Я бы назвал их псевдокоммуникативными, поскольку есть такая пословица о том, что то, что у трезвого на уме... На самом деле коммуникация, может, и происходит, но это коммуникация на уровне телесном и грубо экзистенциальном, коммуникации как обмена продуманными и точно выстраданными мыслями алкоголь не несет. На самом деле, может, чем он и хорош, – он позволяет человеку выдавать версии, постоянно менять свои суждения, неосознанно даже иногда для самого человека. То есть если рассматривать коммуникацию как явление рациональное, я бы возразил.

КРУСАНОВ. Тут опять возвращение. Алкоголь дает именно то состояние, в котором ты становишься неответственным за свои суждения, алкоголь дает тебе возможность не отвечать даже за непоследовательность собственных отрицаний.

КОРОВИН. Да, в этом круге – да. Но перед миром ты все равно в ответе. Здесь, сейчас, мы освобождаемся от этой ответственности, мы находимся в одной ситуации, в одном состоянии. И оно нам желанно, и здесь мы отдыхаем. Под грузом ответственности сколько ты проживешь? День, два. Ну год. Но потом ты спортишься!

ЗВЯГИН. Я могу сказать только одно – оно нам желанно, потому что желанно.

КОРОВИН. Это обыкновенная физиология.

ЗВЯГИН. Ну, обыкновенной физиологии не бывает, как не бывает обыкновенных людей.

КРУСАНОВ. Я хочу все-таки обозначить здесь идеальный план. А то опять тут шаркает одетая во фрак физиология. Идеальный план все равно присутствует.

ЛЕВКИН. А при чем тут тогда рассуждения об ответственности? Это непонятно.

КРУСАНОВ. Почему непонятно? Подобная сегодняшней декларация независимости дает тебе полную свободу в отрицании, в чехарде собственных суждений. И ты становишься не рациональной логической машиной, а как бы естественным человеком. И если одна мысль прекращает другую, то это естественно.

ЗВЯГИН. Я бы не стал смотреть на алкоголь в те розовые очки, в которые на него, к сожалению, смотрит мой друг Павел. На самом деле нет ничего более ответственного, чем выпивка. И давно я замечал, что выпиваешь не потому, что хочешь освободиться от социальных и психологических связей, а только из чувства долга, потому что ты чувствуешь ответственность перед повторяемостью, ритуальной определенностью, точностью и незыблемостью позиций, которые ты занимаешь, выпив.

ЛЕВКИН. Ну если ты себя мучаешь, осуществляя ритуал, то потом же все равно приятно.

ЗВЯГИН. Ну, потом приятно, а потом – неприятно. В категориях «приятно-неприятно» о такой серьезной вещи, как выпивка или алкоголь, рассуждать нельзя.

ЛЕВКИН. Назови тогда свои категории, в которых...

ЗВЯГИН. Хотелось бы возразить прежде всего Саше как наиболее развернуто выступившему. Ты говоришь «химизм». Никакой химизм тут ничего не решает.

КРУСАНОВ. Слово-то какое... Точно большое и вредное насекомое.

СЕКАЦКИЙ. Это уровень минимальной формулы, другое дело – что на него наворачено.

ЗВЯГИН. Дело в том, что у этого химизма очень точно известна формула спиритуса вини ректификатного. H₂SO₄ или как там. Трижды.

(Общее недоумение.)

КТО-ТО. Нет, это серная кислота.

ЛЕВКИН. И ты что же, всю жизнь пьешь именно это?

ЗВЯГИН. Честно говоря, не знаю. Может быть. Может, поэтому так часто приходится содой все это дело нейтрализовывать. Во всяком случае, я хотел сказать о другом. Какова бы ни была формула алкоголя или выдуманного Кастанедой гриба, речь идет не о собственно химизме, а о том, как некая... некий пучок, облако энергии в тебя входит и каким образом твоя разносторонняя, твоя тонкая или не очень – у любого алконавта она довольно тонкая... дело не в твердом химизме вещества, а в тех потенциях, которые содержатся в твоей натуре...

ЛЕВКИН. Не сбивай. Ты себе противоречишь. То облако, то натура...

КТО-ТО. Это он демонстрирует свою независимость на примере.

СЕКАЦКИЙ. Я хотел бы поддержать одну вещь, которая была у Евгения. А именно – об ответственности выпивания. Я бы назвал ее даже категорическим императивом алкоголизации. Давайте сравним с элементарной вещью, со стихотворением Паши Белобрысова: «Не щадя своих усилий, отдыхает кот Василий. Дни и ночи напролет на диване дремлет кот». Вот примерно так же, не щадя своих усилий... И это ответственное занятие, мы же знаем стихотворение Хайяма: «Между пьянством и трезвостью есть лишь мгновение, и я его раб» – примерно так. Это вопрос внутренней техники, и это сложнее, потому что эти два начала: спиритус санкти – дух святой, или логос, и спиритус вини – то есть Бахус, – они, вообще говоря, дружественны – при умелой технике владения ими. Они различны, но дружественны. Вот Радищев писал, что Ломоносов не мог написать ни одной строчки, не упившись до смерти водкою виноградною...

ЗВЯГИН. Извини, что перебил, может, это и не деликатно, но таково, видимо, свободное волеизъявление, которое рано или поздно начинается. Хотелось бы сказать, что Омар Хайям как мусульманин не пил.

ВСЕ. Как?!

ЗВЯГИН. Господа! Насколько я понимаю, Омар Хайям поступал как Гребенщиков или Бутусов, вот Павел в своей прозе очень точно подметил, что солист «Нау» угрожал Богу назойливо, когда пел: «Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой...», или многие песни Гребенщикова, где панки считают, что когда он говорит «ты» – это есть любимая, а он это употребляет как Мартин Бубер, имея в виду Бога, Господа нашего Вседержителя... так что, понимаете, какая вещь... Ну, я забыл, впрочем, что хотел сказать... Хайям символичен – вот что я хочу сказать!

КОРОВИН. Друзья мои, эта тема, как известно, весьма хорошо отражена в литературе. Но дело в том, что только сейчас... Допустим, все мы знаем, что у Фолкнера есть трилогия: «Деревушка», «Город», «Особняк». И вся эта тягомотина, борьба со Сноупсами, так и волочится, пока не появляется... Линда. Если раньше виски и фигурирует где-то там, как одна из деталей ландшафта, то когда приезжает эта дама, которая...

СЕКАЦКИЙ. ...закупает ящиками виски.

КОРОВИН. Да! И они с ней начинают выпивать, выпивая – прозревать. И только это позволяет Минку выйти из тюрьмы и поставить точку во всей этой истории. Она – человек уже посвященный и ведет их за руку.

ЗВЯГИН. Архетипизм этой ситуации состоит точно в том же, как поступает любой, который приглашает девушку на хаус. Первое, что он делает, – достает бутылку.

КОРОВИН. А это уже алкоголь помогает нам исполнить свои половые роли. Женечка, ну скажи честно, эта рюмочка – это же спасательный круг барышни, без нее она бы не исполнила свою половую роль. Ведь без этой штучки... А потом она обнимает тебя за шею и говорит:

«Идиот, что ж ты мне раньше не налил?! В следующий раз прямо скажи: „Ленка, я хочу тебя вы...бать!“»

(Пауза.)

КРУСАНОВ. Андрей, говори что-нибудь. Хоть бы и о социальном.

ЛЕВКИН. Ну согласись, приятней ехать в метро пьяному, нежели трезвому. Это же социальная функция?

ЗВЯГИН. Это нет... ты опять к проблеме транспорта. Господа?! Мы все очень нарциссичны. Нас всех почему-то волнует проблема личности.

ЛЕВКИН. А что тебя волнует?

ЗВЯГИН. А меня волнуют социальные, общественные...

КОРОВИН. А я скажу, что он, алкоголь, – санитар общества, он уносит слабейших. Причем – мгновенно. Очищает общество. Всякая посредственность и прочая шелупонь мгновенно им уносится, и остаются... бивни!

СЕКАЦКИЙ. К сожалению, это не обязательно. Тут могут быть и жертвы. Как Господь не выбирает объекта для своей любви, так и спиритус вини не выбирает объекта для наказания.

ЗВЯГИН. А может, это субъект выбирает спиритус для наказания?

ЛЕВКИН. Что-то у тебя сегодня покаянное настроение. Я же раз с диктофоном, то вынужден следить за тем, что происходит. Так вот, ты сегодня являешься главным врагом алкоголя уже второй час, ты его все время уязвляешь.

ЗВЯГИН. Мне бы совершенно не хотелось, чтобы меня так превратно поняли, господа!

КОРОВИН. Ты просто держишь веревочку из того, большого мира. Отпусти ее.

ЗВЯГИН. Мне бы хотелось, говоря, говорить самому все-таки. По возможности. Да, обвинив меня в таком погрешении, ты уже заставил меня испытывать ощущение вины непонятно перед чем. Но может, ощущение вины – глубоко экзистенциально, может, это именно то, что ищет человек, употребляющий алкоголь. И вообще, тяготеющий к любого рода кайфу. Может, не собственно то эфемерное чувство, которое он испытывает, пока не нажрался. А последующее страшное, трагическое, глубоко мучительное ощущение того, что твой организм согрешил или не организм только, а и все твоё существо, – может быть, оно и является целью каждого пьяницы, конечной и неотменимой целью?

КРУСАНОВ. То есть осознание сущности греха?

ЗВЯГИН. Да, познание греха.

ЛЕВКИН. А как это связано с техникой безопасности?

СЕКАЦКИЙ. У Битова есть такая строчка: последняя недоговоренность всегда сильнее желания договорить до конца. Она мне очень нравится и удивительно четко действует в этих вещах. Вот люди выпившие приезжают, общаются, все это видят, но никто не подает виду... и странно растягиваемая пауза, до того как найдется кто-то невменяемый, который скажет: «Да ты же пьян, сволочь!» Колоссальное разрушение всего, сплошной звон посуды на весь мир. Но странным образом обычно все сходит с рук, остается в недоговоренности.

КРУСАНОВ. Умолчание о главном гораздо сильнее и выразительнее всех навешенных на него слов. И это очень правильно.

ЗВЯГИН. Мы пока ничего еще не сказали о кайфоломах, кстати. Это отдельная соседствующая зона, которая...

ЛЕВКИН. Кто это?

КОРОВИН. Это всякая сволота, которая пьет умеренно. Я так считаю, что это, конечно, вообще не люди. Они нам не товарищи.

НЕКТО. Можно я зачитаю? У меня как раз текст есть про кайфоломов с собой.

КРУСАНОВ. Имя, пол, возраст?

НЕКТО. Александр Неманис.

(Читает текст о том, как пришли трое к четвертому, сначала не хотели, а потом все-таки стали что-то пить.)

КРУСАНОВ. Андрей, приступай к обязанностям.

ЛЕВКИН. К каким?

КРУСАНОВ. Ну, не знаю. К каким-нибудь.

СЕКАЦКИЙ. Тебе пора подвести промежуточные итоги.

ЛЕВКИН. Какие промежуточные итоги?

ЗВЯГИН. Я могу подвести промежуточный итог. Мне кажется, что кайфоломом может оказаться всякий, даже собственно алконавт.

(Все: тихое согласие.)

ЛЕВКИН. А с какой целью они это делают?

КРУСАНОВ. Не надо уточнений. Кайфоломом может быть всякий. И все, точка!

КОРОВИН. Я не хочу, чтобы это явление существовало вообще.

ЗВЯГИН. На самом-то деле это не означает, что его нет.

КРУСАНОВ. На самом-то деле они и топчут твою суверенность.

КОРОВИН. А я не хочу, чтобы это существовало. Я с удовольствием примиряюсь с тем, что сербы займут этот чертов мусульманский город, гори он огнем, но я не могу примириться с существованием такой язвы, как кайфоломы.

ЗВЯГИН. А ледоколы?

КОРОВИН. А что ледоколы? С ледоколом охотно примирюсь. Дело в том, что на ледоколах ребята обычно все вот такие, мировые, и без этого дела за стол не садятся.

СЕКАЦКИЙ. В этой проблеме интересно другое. Не то, что кайфоломом может быть каждый, но почему они делают такой огромный допуск в терпении, и только, если уж это совсем ни в какие ворота не лезет, – только тогда кто-то произносит эту сакральную фразу («Ты пьян!»), сопровождаемую звоном посуды. Область допуска очень велика. Всегда существует очень широкий круг адаптивности людей к разной степени алкоголизации окружающих, пока те сохраняют какой-то минимальный уровень вменяемости, – вот что удивительно.

ЗВЯГИН. Меня очень путает слово «алкоголизация», это слово из правых газет.

СЕКАЦКИЙ. Но мы вкладываем в него другой смысл, никто не мешает.

ЗВЯГИН. Ну, понятно, понятно...

СЕКАЦКИЙ. Дело в том, что это странная идея...

ЗВЯГИН. ...хотя – почему?

СЕКАЦКИЙ. ...огромного терпения, идея, что выпившему человеку простится многое такое, и это не только в русской ментальное™, но в русской ментальное™ это совершенно очевидно, и четкий драйв модуса...

ЗВЯГИН. Но выпивший человек может быть другому кайфоломом, вот в чем дело! Например, очень пьяный человек даже может сказать менее пьяному: «Ты пьян!» Правда, очень многое зависит от интонаций, слогоразделения и так далее.

КОРОВИН. Но вот юноша. Бедный, опьянел в первый раз, а ему говорят: «Ты пьян, ты свинья, фи!» Мальчик может получить травму на всю жизнь. А ты скажи Хренову, что он пьян? Он тебя просто не услышит.

ЛЕВКИН. Нет, он скажет: «Ничего подобного».

КОРОВИН. Нет, он не услышит. А вот если ты скажешь: «Давайте еще по одной» – вот это он услышит обязательно.

ЗВЯГИН. Хочу сказать, что меня в нашем разговоре интересует нечто невычлененное. Все, что мы вычленили, – прекрасно, но ведь чем хорош алкоголь, что в каком-то узком диапазоне он настаивает на том, чтобы человек сказал нечто неформализованное, не вычлененное из ряда букв...

КРУСАНОВ. Все, что мы вычленили, – замечательно и противоречиво, ведь мы в разведке. Донесения каждого противоречат донесениям другого и как бы не соответствуют. И вот что я вам скажу, господа, неформализованное – в жизни есть лишь несколько достойных вещей: гигиена, выпивка, своевременный разврат... и еще кое-что. Все остальное не так важно, поскольку недостаточно прекрасно.

ЗВЯГИН. Но если у тебя полна сумка бутылок, то не дай бог, чтобы была разведка боем.

ЛЕВКИН. Ну что, плоская шутка, бывает...

ЗВЯГИН. Ну, мы ее потом выбросим.

ЛЕВКИН. Нет, я ее оставлю. Все-таки определяет стадию.

ЗВЯГИН. Да, то есть не просто как констатацию, но и как демонстрацию... Насколько я понял из приватного обмена летучими фразами, у Паши есть еще что-то сказать.

ЛЕВКИН. Да, в самом деле. Мы совершенно отошли в сторону от лиризма. Если можно, то что-нибудь об этом.

КРУСАНОВ. Пожелание принимаю к сведению. Здесь говорилось, что общение в состоянии подпития как бы не интеллектуально, не лучшее интеллектуальное общение. Но я

хочу сказать как раз о том аспекте, что есть взаимопроникновение пьющих какими-то другими частями своего, ну не сознания, а иного естества – души, что ли. Например, когда я со Звягиным иной раз выпиваю и мы говорим, а говорим мы часами, то, бывает, такой отрадный разговор за стаканом меня, словно ребенка после теплой ванны, в мягкую фланельку оборачивает. И так становится спокойно и хорошо, будто мама молилась за меня и вымолила мне покой. Душевное какое-то соитие, и об этой стороне общения посредством выпивки мы стыдливо умолчали.

КОРОВИН. Трезвый человек и в Бога-то не верит, тотальный атеизм. И только выпивший человек может почувствовать свою родственность с Отцом Небесным.

А почему? А потому, что выпивка позволяет в самом деле освободиться от социальной и прочей шелупони.

ЗВЯГИН. Ты понимаешь, это ведь хлыстовство и есть. Пока тебя тут не было, мы говорили о душевном и духовном. Об этом говорил Саша, я о том же, но в ином ракурсе. Это очень тонкая вещь, о которой нельзя забывать даже за бутылкой. Есть некоторая высокая одухотворенность, и есть душевность, есть... стигматы могут, допустим, появиться по пьяни, если ляпнешься на булыжную мостовую, а могут появиться совершенно по другому поводу. И об этом никогда нельзя забывать. И никогда не советую вам, господа, путать псевдо... возвышенность с возвышенностью собственно, которая может изредка появляться даже в пьяном состоянии, но не является, так сказать, его фокусом и сутью, а как иначе сказать – не знаю...

СЕКАЦКИЙ. Еще один аспект не затронули. Речь идет о так называемой посталкогольной амнезии. Представим себе... ощущение человека, просыпающегося после того как. И не там где. Взгляд на свою одежду, на руки, на зеркало. И бемц-бемц: «О какой ужас, как страшно!» А потом, после этого появляется какой-то провокатор. И говорит: «А ты помнишь, что ты вчера Леночке обещал? А зачем ты ходил с ней на балкон, а зачем ты сделал то, сделал се?»

ЗВЯГИН. Ты обнаруживаешь скрытые комплексы.

СЕКАЦКИЙ. Погоди. Я говорю о том, что в этом состоянии человек пластичен и податлив, как пластилин. Он готов ко второму рождению. Он готов для программирования, и он примет что угодно и только непрерывно будет хвататься за голову, а там, внутри, как метроном: бемц-бемц...

ЗВЯГИН. Может, я перебарщиваю... Но вот, допустим, человек действительно проснулся, амнезия временная и полная, и вот он просыпается, смотрит вокруг, происходит какое-то беллетристическое описание, вот уют...

ЛЕВКИН. Плюшевый.

ЗВЯГИН. Плюшевый, как мишка, от пыли. Брошенная одежда, вот труп, лежащий и глядящий в потолок. Это гораздо интереснее, чем чья-то мнимая провокация. И ощущение монолога, страшного – с неизвестностью, который ведет человек с только что возникшим состоянием потери памяти. Впрочем, я умолкаю, потому что переборщил.

СЕКАЦКИЙ. Очень интересная реплика, но в этих делах, которые практически не исследованы, хотя это...

ЗВЯГИН. Практически-то как раз исследованы.

СЕКАЦКИЙ. Потому что это состояние полной программированное™, но суть в другом: обнаружение страшного – кем же я был вчера? И в этой ситуации получается решение по типу клин клином, и мы приходим к экзистенциалу похмелья. Все, хуже уже не будет. И вот тут нам наливают рюмочку – и начинается обратное движение, возвратное движение к позеленению холмов. Все не так страшно, все опять порастает зеленью...

ЗВЯГИН. Мне кажется, что это движение не симметрично. Потому что вопрос о том, кем я был вчера, конечно, задается, но он неразрешим и не имеет ответа, потому что, кем ты был вчера, ты не узнаешь. Единственно, что можно отметить, это то, кем ты являешься в данный момент, – потому что являешься ты тварью дрожащей, и это плохо, но то, кем ты был вчера, – никогда не будет известно. Никому, никогда.

P. S.

ЛЕВКИН. Что я, как человек, державший в руках диктофон, могу добавить к

вышесказанному? Во-первых – некоторые технические подробности. Разговор продолжался около полутора часов – ну, две стороны кассеты. Как уже понятно из самой беседы, сопровождалась она питьем спиртного напитка, а именно – водки «Rossia» в количестве двухлитровых бутылок. Диктофон при этом не выключался, равно как впоследствии не производилось практически никаких подчисток текста: ни с точки зрения отдельных купюр, ни на уровне облагораживания устной речи.

Во-вторых, хочу отметить, что в данной ситуации имел место тот редкий случай, когда рассуждения о процессе происходили в ходе самого процесса и, более того, являлись его неотъемлемой частью. Право же, таких занятий на свете очень мало, если это вообще не единственное. Поэтому, возможно, общий ход разговора говорит о предмете больше, нежели все высказанные на его счет мнения. Что еще? Как можно увидеть, по ходу дела все мнения людей, участвовавших в беседе, породили для каждого из нас именно тот вариант состояния, возникающий в результате питья, который каждый декларировал. Что из этого следует? А вполне теоретическое утверждение: любой метаязык, любое метаописание предмета или занятия всегда гораздо более привязаны к личности человека, ему приверженного, нежели к самому языку или процессу. И что самое замечательное, по ходу занятия приставка «мета» растворяется, отдельная личность со свойственным ей внеположным отношением к предмету уходит в сторону, исчезает. Метаязык становится языком, метаописание становится ненужным, поскольку остается только сам язык, только само занятие.

В этом, несомненно, кроется что-то очень важное, но рассуждать об этом мне решительно неохота.

ВЛАДИМИР ШИНКАРЕВ Главы из вещи в трех частях «Максим и Федор»

ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО?

Как-то вечером Василий со стаканом пива в руке говорил:

– В Пушкине, сколько раз приезжал, каждый раз в пивбаре раки бывали.

– Почему? – спросил Петр.

– По одиннадцать копеек штучка.

– Крупные?

– Да нет, мелкие вообще-то... не в этом дело, ты когда-нибудь видел, чтобы в пивбаре раков давали?

– Видел, – из гонора ответил Петр.

– А где это – Пушкин? – спросил Федор, сворачивая ногтем пробку.

– Как где? Ты что, не был? Под Ленинградом, на электричке двадцать минут.

– Так чего, поехали? – осведомился Федор в сторону Максима, развалившегося в кресле, как Меншиков на картине Сурикова. Максим безмолвствовал.

– Когда, сейчас, что ли? – спросил Петр.

– А когда?

– Надо уж с утра, в выходной; там в парк сходить можно.

– Поехали в выходной.

– Идите вы в жопу со своим Пушкином, – прервал разговор Максим, – пацаны, раков они не видели...

Он встал, уже стоя допил пиво, подошел к раскладушке и, сняв ботинки, лег. Раздался звук, как если бы, скажем, два отряда гусар скрестили шпаги.

– А чего не съездить? – сказал Федор.

– Какого ляда туда тащиться... – после долгой паузы, когда никто уже и не ждал ответа, объяснил Максим.

Да, конечно, трудно и представить Максима и Федора вне дома или его окрестностей, хотя, поди ж ты, – были в Японии...

– А чего, поехали в субботу? – не унимался Федор.
– Вали хоть в жопу, темноед, – проговорил Максим.
– Почему темноед? – удивился Петр.
– Потому что ночью встанешь поссать, а он сидит на кухне в темноте голый и жрет чего-нибудь из кастрюли.
Все засмеялись, Федор особенно умиленно:
– С похмелья! С похмелья-то оно конечно! А у Кобота всегда в кастрюле суп есть!
Налили по пиву.
– Петр, дай-ка бутылочку, – лежа головой к стене, крикнул Максим.
Петр подал бутылку пива; Максим, как больной, кряхтя повернулся и стал пить.
– Ладно, – сказал он, утирая пену с губ, – сегодня понедельник? В субботу поедем, только теперь уже точно.
– Ну, а я про что говорил? Я же говорил! – развел руками Федор, многообещающе улыбаясь.

На следующий день ученики прямо с работы приехали к Максиму и Федору, чтобы все подробно обговорить, подготовиться, точно все наметить.

У Петра в эту субботу оказался рабочий день, но он договорился об отгуле, хотя ему и не полагалось. Пришлось выклянчивать, обещать всякое. Особенно трудно объяснить, зачем понадобился отгул. Не сказать же прямо – договорился в Пушкин поехать, – не пустят! В воскресенье, скажут, поезжай. У Василия все вроде было нормально, хотя сама работа ненадежная – в любой день могли отправить в командировку – правда, всегда на один день.

Сидели часа три и почти не пили – считали, сколько денег надо, да во сколько выехать, что брать с собой. Федор неожиданно для всех очень беспокоился, приговаривал: «Пальтишко взять не забыть, ватничек захватить», – хотел, чтобы все было тщательно распланировано, суетился. Обычно он совершенно ни о чем не заботился – есть ли деньги, заплачено ли за квартиру; есть ли в доме еда – все ему до лампочки, в чем спал (а спал обычно одетый), в том и гулял везде. Тут же его будто подменили. Поездка в Пушкин казалась ему совершенно необыкновенным, чудесным делом, которое ни в коем случае нельзя пустить на самотек. Максим тоже вел себя необычно – никаких высказываний типа «да ну в жопу», ко всему внимателен, даже разрешил Федору взять ватник. Видно было, что они с Федором и до прихода учеников долго говорили.

В конце концов решили: вино и продукты купить на следующий день, в среду, чтобы уже не дергаться. Деньги на это достанет Петр – продаст в обеденный перерыв свои книги по искусству, деньги передаст тут же Максиму, который сам вызвался все купить. На том и разъехались.

Еще не скучно? С продажей книг не повезло – взяли только половину, денег явно мало. Вдобавок утром Петру позвонил Василий и сказал, что его таки посылают на буровые, в командировку – сегодня, на день, вернется в четверг вечером, в крайнем случае – в пятницу утром.

Максима новости прямо подкосили, хотя и ясно было, что страшного ничего нет – Василий в пятницу приедет, а деньги Петр завтра достанет.

– Да не в этом дело, – безнадежно махал рукой Максим, – Федор разволнуется, да и вообще... нервы трепать.

После перерыва опять позвонил Василий, сказал, что никуда он лучше не поедет, а уприсит приятеля поехать. Вечером Петр, конечно, пошел к Максиму, успокоить.

Там оказалась довольно дерганая обстановка. Единственное, что могло радовать душу, это ватник и пальто Федора, аккуратно сложенные в углу. Максим, сколько ни ходил по магазинам, портвейна не купил, с непривычки разозлился, купил пока две бутылки водки, одну из которых

они с Федором для успокоения и уговорили. Корить их не стоило – видно, что Максим сам больше всех мучается.

Петр предложил плюнуть и забыть, то есть не в смысле, что совсем не ехать в Пушкин, об этом никто не мог и помыслить, а в смысле плюнуть на неудачи сегодняшнего дня и завтра начать все по-новой и наверняка: Петр понесет те книги, которые точно возьмут, Максим будет искать до упора, пока не найдет, – не так это трудно, сегодня случайно не повезло.

Твердо так решив, успокоились, на радостях распив вторую бутылку водки.

Опять с утра позвонил Василий и сказал обиженно, что приятеля, подлеца, не уговорить и он немедленно выезжает, а в пятницу утром будет как штык. Ну, это, в общем, не страшно.

Хуже было со сдачей книг. «Букинист» в этот день оказался закрыт на переучет.

– Ядрена вошь! – кричал Максим. – Ты, обалдуй, целыми днями в этом магазине околачиваешься, неужели не запомнить, когда он работает?

Что ему объяснишь? Петр позвонил на работу, сказав, что срочно надо поменять паспорт, и поехал с Максимом в другой магазин.

Народу было – тьма. Максим томился в жарком помещении, надривно вздыхал, ходил туда-сюда, поссорился в подворотне со спекулянтом. И все был чем-то недоволен.

«Я же свои книги, позарез мне нужные, продаю – а он все недоволен; вчера пропил все – а теперь он недоволен! Не угодил!» – думал Петр и, чтобы окончательно растравить душу, перебирал книги, принесенные для продажи.

Наконец продали, вышли на жаркую улицу.

– Что там Федор собирается с ватником делать? – спросил Петр.

– Хрен с ним, пусть с ватником таскается, лишь бы пальто оставил.

– Как же, оставит он, удавится скорее. Слушай, Максим, давай договоримся. Я сегодня вечером не приду...

– Это почему?

– Да потому что работа у меня, служба! Я уже на два часа с обеда опоздал, вечером отрабатывать надо!

– Не ори, как припадочный!

– Ну... в общем, завтра, в пятницу, после работы сразу приезжаю, Василий тоже, а в субботу, значит, прямо утром...

– Ну смотри! – с угрозой сказал Максим, круто повернулся и, хромая, пошел прочь.

В пятницу утром Петру по междугородному телефону позвонил Василий и объяснил, что он тут мотается, как говно в проруби, подгоняет всех, но никто ни хрена делать не хочет, короче, приедет он только в пятницу поздно вечером или в крайнем случае – ночью. Петр прямо при сослуживцах стал материться, настолько у него за деньросло тревоги и за Василия, и за Максима, неизвестно, купившего ли хоть что-нибудь.

Договорились на том, что Василий вечером выезжает, кровь из носа, а если не успеет там доделать, пусть бросает все к чертовой бабушке, пусть хоть с работы выгоняют.

Василий пробовал было заикнуться о том, что в Пушкин можно поехать и в воскресенье, но Петр прямо завыл и пообещал теперь-то уж в любом случае набить Василию морду.

Василий, не слушая, орал, что Петр на его месте руки бы на себя наложил, что он тут на последнем дыхании все делает, чтобы вовремя вернуться в Ленинград, а говно всякое сидит себе там... Петр положил трубку.

Не успел на Петре и пот обсохнуть, раздался звонок. Позвонила жена Василия (да, ведь Василий женат – не странно ли?) Леночка, спросила, где Вася.

– Как где? На этих, буровых!

– А? Ну ладно. Извини, я тороплюсь, в общем, если ты увидишь его раньше меня, передай, чтобы он немедленно – понял? – немедленно ехал ко мне.

Короткие гудки.

Петр вскочил, побежал в кассу взаимопомощи и занял десятку, чтобы усмирить панику и хоть что-то сделать для общего дела, как дурак, купил три бутылки сухого (портвейна не было).

Вечером все было хорошо. Петр, Максим и Федор сидели за столом, распивая, как благородные, одну бутылку сухого вина.

Сумка с портвейном, двумя сухого и колбасой, тщательно застегнутая, стояла у двери.

Но, Боже, что это было за утро! И, конечно, дождливое. Петр каждую минуту порывался бежать во двор встречать Василия, но Максим силой сажал его на стул:

– Чтобы и ты потерялся?!

Федор, видно вообще не спавший ночью, сидел у окна будто в ожидании ареста – сгорбленный, вздрагивающий при каждом шорохе. Максим, скрестив руки на груди, вперился в циферблат часов, специально вчера одолженных у Кобота.

Часы люто, нечеловечески стучали.

Звонок все-таки раздался, но казалось – ему не искупить предшествующую муку.

Василий ворвался в квартиру, будто спасаясь от погони.

– Все! Поехали! – сразу закричал Максим.

Все забегали туда-сюда по комнате. Федор, как солдат по подъему, бросился надевать ватник.

– Стойте! Посидим перед дорогой, – опомнился Петр.

Все сели кто куда. Василий, блаженно улыбаясь, вытирал пот. Не подлец ли?

– Ну, пошли.

Чинно спустились по лестнице, прошли через двор, помахав руками очереди у пивного ларька (нужно ли говорить, что вся очередь со вторника знала о поездке в Пушкин?).

Как-то без нетерпения дождались автобуса. Автобус резко тронулся, все повалились друг на друга со счастливым смехом. Петр, однако, осторожно прижимал к груди сумку.

– Стой! – страшно закричали позади – кто-то, падая и плача, бежал вдалеке. Это Федор не успел сесть.

Нет, есть все-таки люди, умеющие не дрогнуть под ударами судьбы, как каменный мост во время ледохода.

Наверное, мой Максим все-таки такой, хоть и пытался драться с шофером автобуса так, что тот из злости не открыл дверь на следующей остановке, заодно попало и Василию, настаивавшему на диком предположении, что Федор догадается ехать следом и, стало быть, нужно ждать следующего автобуса.

Но кто бы смог так остановить первое же такси, не имея в этом деле никакого опыта? Только Максим. Так Геракл остановил у пропасти колесницу какой-то царевны.

А кто бы смог найти Федора, с искусностью подпольщика (проворонил Федор свое призвание!) захоронившегося, пропавшего в промежутке между автобусной остановкой и домом?

Нет, Максим – это супер.

Часа через два они уже шагали под сводами Витебского вокзала. Плотной группой, держась за плечи и руки друг друга, поминутно оглядываясь и пересчитываясь, они вошли в электричку. Сразу обмякнув, как мешки с картофелем, опустились на скамейку. Говорить не хотелось.

Электричка застрекотала, тронулась, и Федор прижался лицом к стеклу, более чем по-детски водя глазами туда и обратно. Все улыбались и тоже смотрели в окно.

– Ну что же, может, сухонького по этому поводу? – спросил Петр.

– Давай, – чуть помедлив, сказал Максим. – Можно и сухонького, раз такие дела. Не думал я, что выйдет у нас. Повезло, здорово повезло.

– Что не выйдет? – осведомился Петр.

– В Пушкин поехать.

– Почему не выйдет? Странно, что еще такая канитель получилась.

– Орясина ты полупелагианская. Много ли у тебя чего выходило?

Достали бутылку сухого, вот только ножа ни у кого не нашлось. Настолько непривычно было пить сухое, что никто, даже Федор, не имел особого опыта открывания таких бутылок – с пробкой.

– Эй, приятель, у тебя штопора нет? – обратился Василий к человеку, сидящему невдалеке. Тот мотнул головой.

– А ножа какого-нибудь?

Гражданин, чуть помедлив, достал узкий, похожий на шило нож.

Василий приладился и стал продавливать и терзать пробку, но никак не получалось.

– Мне выходить на следующей, – сказал гражданин.

– Не ссы, выйдешь, – беззлобно откликнулся Максим, насмешливо и мудро хлюпнув носом. Видно было, что он расслабился и пришел в себя.

Василий заторопился и стал тыкать ножом так, как толкут картошку на пюре. При очередном ударе он промахнулся и всадил нож себе в запястье. Струйка крови ударила в пыльный пол.

– В вену, – печально констатировал Василий. Сидящие невдалеке граждане всполошились, стали глядеть с отвращением, некоторые пересели.

– Немедленно идите в травмпункт! – вскричал мужик, который дал нож. – Пойдемте, что вы сидите?

Действительно, электричка стояла на остановке. Стояла и стояла, пока не объявили:

– Товарищи, просим освободить вагоны. Электропоезд дальше не пойдет.

Когда они вылезли в Пушкине, кровь уже не покрывала платок новыми пятнами.

Небо было сплошь в тучах, накрапывал дождь.

– Да, не зря ты, Федор, ватник взял! – засмеялся Петр.

– А мы пойдем в парк? – оглядываясь, спросил Федор.

– Конечно, – ответил Максим.

Все улыбались.

ПОХМЕЛЬЕ

Петр раскрыл глаза с таким ощущением, будто открывалась чуть зажившая рана.

– Пойдешь на работу? – повторил Максим.

– Нет, – ответил Петр и накинул пальто себе на голову.

Под пальто душно, уютно, пахнет махоркой, что-то кружится. В кулаке, кажется, сидят маленькие существа и проползают туда и обратно. Быстро-быстро ползут, а то и большой кто-то пролезет, со свинью. Странно, отчего так неуравновешенно, что во рту жжет и сохнет, а ногам, наоборот, очень холодно? Оттого, что голова главнее? Или короче? Или...

– Пиво будешь? – спросил Максим.

– Нет.

Человечки проползли в кулак по несколько сразу. Нет, ни на какую работу. Или... А, это он про пиво, буду ли пиво, ну-ка!

Рывком сбросил пальто и сел.

– Я тебе налил, – сказал Максим, – давай, чтоб не маячило.

Утро дымное; но не в том смысле, что накурено, нет. Ранние косые лучи играют на бутылках, как в аквариуме, и все белое кажется перламутровым, дымным. Ну не прекрасно ли –

бывает еще и утро. Перламутра перла муть. Не пива, а кофе надо побольше, и ходить, удивляться.

Петр встал, поднял с пола ватник и, не зная, куда положить его, не в силах думать над этим вопросом, бросил.

Взял стакан, поклацал по нему зубами.

В каждый момент случалось очень многое, слишком неуместно отточены сделались чувства. Взявшись за ватник, Петр начал было гнуть Бог знает как далеко идущую линию поведения – не выдержал, изнемог, бросил. И за пиво взялся так же – вложив все свои чаяния, со стоном глянул в глубокую муть, поднес к губам, приник поцелуем. Пиво казалось очень густым и даже как будто не жидким, сразу устал пить.

– Вон вода в банке, – сказал Максим.

Петр пошатался туда-сюда, выпил воду.

– Слышь, Максим, мне вроде в военкомат надо, свидетельство мобилизации приписное... предписательство...

– Вали, вали.

Петр тотчас же повернулся и вывалил на улицу.

Пройдя метров двести, он остановился и внимательно оглядел небо. Не вышла, видно, жизнь. Поломатая. Все насмарку. Псу под хвост. Петр засмеялся – непонятно, почему это с таким удовольствием, этак игриво, да откуда такая мысль сейчас?

Грустно и легко. Не выпить ли кофе? Нет, здесь только из бака пойло по двадцати двум копейкам. Надо пожрать, кстати. Или домой? Домой.

Как счастливы первые полчаса дома – сидишь, ешь один, читаешь какое-нибудь чтиво, хоть «Литературную газету». Ничего не случается, ничего не воспринимаешь. Плата за отсутствие получаса жизни – всего ерунда, не больше рубля – худо ли?

Петр накрыл грязную посуду тряпкой, что подвернулась под руку, лег на диван. Оглядел книги, покурил. Встал, поклонился. Включил магнитофон, и, хоть тотчас же выключил, нервный Эллингтон успел все испоганить.

Петр очнулся второй раз за утро, того и гляди снова человечки в кулак полезут. Нужно начинать день сначала. Или ложиться спать.

Нудное, суетливое беспокойство за судьбу дня! – что-то надо ведь сделать, хоть кофе нажраться, хоть что.

Нужно остановить эту расслабленность и для начала спокойно, не торопясь, прочитать наконец «Плавание» Бодлера – ни разу в жизни, ей-Богу, не нашлось для этого свободного времени. И если не сейчас, то никогда не найдется из-за этой же расслабленности.

*Для отрока, в ночи глядящего эстампы,
За каждым валом – даль, за каждой далью – вал.
Как этот мир велик в лучах рабочей лампы!
Ах, в памяти очах – как бесконечно мал.
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей...*

С первых же строк Петр почувствовал, что это то, что эти строки он будет знать наизусть и они будут спасать его и в автобусных трясках, и под жуткими лампами дневного света на работе; однако, не дочитав и до половины, заложил спичкой и сунул в портфель – не то! Стихи прекрасные, но быстрее же, быстрее, некогда тратить время на стихи. Что же сделать?

Пыль медленно клубилась на фоне окна. Казалось, что смотришь в окно, на голубей, на заборы – как на волшебное долгожданное кино.

В Эрмитаж? В Эрмитаж...

Петр в оцепенении усмехнулся – давно ли был в Эрмитаже, давно ль слушал спор

восторга со скукой перед любимым портретом? Портретом Иеремиаса Деккера. Скука говорила: «О! Как обрыдло! Одни переработанные отходы – сколько же их просеивать?»

Восторг говорил своей супруге: «Оставь меня хоть на час. Не навязывай свое проклятое новое, я все еще жив!»

Нет, Эрмитаж требует согласия с самим собой. А все остальное? Как нудно это предчувствие лучшей участи! Ну неужели для этой жизни родится человек, где хочется быть серьезным и торжественным, а никогда, ни в одну минуту не достичь этого, хоть дразнит, маячит где-то рядом!

Или это я один такой? Или я не могу никого полюбить?

Петр, как и давеча, именно вывалился на улицу, в ностальгическое и бесплодное забытие. Присев на скамейку, он сунул руку в карман и погрузил в крошево табака, скопившегося там. Казалось, что погружаешь руку в теплый песок, нет, в теплую морскую воду, когда еще чуть пьян от купания.

А песок? Мокрый песок, медленно застывающий в башни, страшные башни, как у Антонио Гауди. Далеко-далеко. И такое же уменьшающееся солнце.

Петр зачерпнул горстку табаку и взмахнул рукой. Веер коричневой пыли, как тогда из окна.

Голуби поднялись в воздух, но тут же опустились, думая, что им кинули что-то поесть. Кыш, голуби, кыш!

Хотя почему кыш? Какое слово – кыш... А! Кыш-кыш – так говорила... эта... когда он лез к ней целоваться.

Кстати, вот что надо сделать! Позвонить хотя бы, скажем, Лизавете и закатиться с ней в пивбар! Почему нет? Грустно и легко. Но, к сожалению, я не пью. Никогда.

Да и Лизавета, милая...

Верно сказал Василий: дьявол умеет сделать воспоминания о минутах, когда мы делаем зло, приятными. Грустными и легкими. Это верно, верно; лучше один буду маяться, чем... А что за зло такое? Что за грех? Ведь правильно говорил Вивекананда, что грех в том и состоит, чтобы думать о себе или о другом как о совершающем грех. Что бы на это сказал Василий, этот дуалист? Да нет, он прав... И тот прав, и этот. И остальные. Все попробовал? Хватит, хватит! Пусть лучше стошнит, чем превратиться в дегустатора!

Петр шел все быстрее и быстрее, тревожно поглядывая на афиши кинотеатров. Не дай Бог туда понесет!

Правда, за полтора часа забвения от жизни – сорок копеек.

Дешево. Но похмелье сильнее от дешевого.

Как выгодно отличается кино от жизни! Там все быстро, хоть и неинтересно бывает, и, главное, сопровождается музыкой.

Какая музыка, что? Куда это я иду? Не все ли равно, чем сопровождается? Музыкой, свободой, покоем. Хоть в тюрьме. «Не надобно мне миллиона, мне бы мысль разрешить», да как ее разрешить, если ее в руку-то не возьмешь, хоть и поймал – как скользкая пойманная рыба, – раз – и опять в реке.

– Эй, парень, стой! – окликнул Петра оборванный человек.

– Что?

– Ты не торопись. В военкомат идешь?

– Нет, – ответил пораженный Петр, которому действительно надо было в военкомат, хотя и не этого района.

– А, ну ладно. Я думал – в военкомат. Дай одиннадцать копеек, хоть маленькую возьму.

Петр отдал деньги и все быстрее пошел дальше, уже зная куда.

Близился вечер. Люди уже вышли с работы и стояли по очередям – кто в магазине, а кто прямо в уличной толчее.

Петр, сгорбившись, стоял у уличного ларька и наблюдал за быстрым и нечеловеческим движением селедок на прилавке, людей и машин. Все, даже селедки, имело такой сосредоточенный вид, будто только что оторвалось от подлинного, настоящего дела ради короткой перебежки к другому настоящему делу.

Петру хотелось взять кого-нибудь из этих людей за лацканы пиджака и что есть силы крикнуть: «Весть! Весть дай!»

Вроде похожая фраза есть у Воннегута? Никогда не обходится без рефлексии; рельсы бездорожья.

Жизнь кажется просто невозможной, – поди ж ты – она продолжается. Мы продолжаем жить. Вот уже солнце между домами; последние, косые, Достоевские лучи.

Чем мне больнее, тем лучше. Почему? Почему совесть, которой у меня, может, и нет, должна мучить меня незнамо за что?

Или – прав Василий! – это чувство первородного греха, и успокойся на этом? Или это просто грехи замучили?

Василий хоть грехи может замолить, хотя как это – замолить? Их можно только исправить; чего, правда, тоже сделать нельзя.

Можно купить в гастрономе индульгенцию. За два сорок две. Или за четыре двенадцать.

Видно, нет мне благодати, нет ее. А без нее не жизнь – одно название. Вот как в кино – занавесь окошечко, откуда луч, и на экране уже ничего нет, одни разговоры. Одни разговоры. Только в луче Бога получится жить. Чтобы жить вне этого луча – какое напряжение нужно. Да ну... Как бы ни напрягалась фигура на экране при занавешенном окошечке – вряд ли выживет.

А вдруг все-таки сможет? А все-таки, Господи?

Ох и зануда же я! Что делать, что делать... кем быть, да кто виноват. Да вон старичок идет через дорогу, ему же трудно! Что же ты ему не поможешь?

Петр дико махнул рукой, сплюнул и энергично перебежал улицу. Даже не замедлив шага, он толкнул дверь бара. Она не поддавалась.

Швейцар смотрел, как рыба.

– Пусти, говорю! – крикнул Петр.

– Ты смотри, – сказал Максим, открыв дверь. – Федор заболел.

– Как заболел? Чем? – удивился Петр.

– Кто его знает... Никогда вроде не болел.

– Да что у него, температура? Болит что-нибудь?

– Температура, Кобот сказал. Не говорит ничего, в карты играть стали, а он, вижу, не может, какдохлый.

Петр быстро прошел в комнату, как бы извиняясь, присел на пол рядом с раскладушкой Федора.

– Что, Федор?

– Мутит чего-то. Портвею бы надо, да денег, сказал, нету.

– И у меня нет... – Петр виновато обшарил заведомо пустые карманы брюк. – Ты аспирин-то принимал?

– Кобот дал чего-то.

– Ну, ты спи, главное. Спал сегодня?

– Весь день спал.

– Ну вот и ладно, завтра и выздоровеешь. Или врача вызовем.

– Нет, не надо. Завтра лучше выздоровлю.

– Ну уж в жопу врача, – сказал Максим, входя. – Я как-то вызвал врача, так потом хлопот не оберешься, а толку никакого. Кобот понимает, он таблеток дал.

– Каких, покажи.

– Вон, на полу лежат.

На полу лежали пачки аспирина и барбамила.

– Я завтра еще принесу, других, – сказал Максим, – и вообще, кончай ты... Может, он и не болеет вовсе, а так, рыбы объелся.

Петр потыкал рукой таблетки на полу, журналы, взял тетрадку, в которой Федор время от времени записывал что придется – или сам сочинит, или услышит.

Посмотрел последние записи:

Если человек ест в темноте, хоть и называется темноедом, это ничего.

Одинаковое одинаковому рознь.

Нужно твердо отдавать себе отчет, зачем не пить.

Хоть и умные бывают, а все равно.

Разливное и дешевле, и бутылки сдавать не надо.

Надо верить жизни, она умнее. Вплоть до того, что – как выйдет, так и ладно.

Ты надеешься, что как выйдет, так и ладно? Значит, выбор за тебя сделает дьявол.

НА СМЕРТЬ ДРУГА

Шла машина грузовая.

Эх! Да задавила Николая!

– Ишь ты. Это ты когда написал? – спросил Петр.

– Это он сегодня, – гордо ответил Максим.

– И стихотворение сегодня?

– И стихотворение.

Петр хлопнул по лбу, достал из портфеля книгу:

– Сейчас послушайте внимательно, не перебивайте.

Федор сел и спустил босые ноги на пол, Максим чуть нахмурился. Оба закурили.

«Для отрока, в ночи глядящего эстампы...»

ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

**Сентиментальное путешествие вдоль реки Мойки, или Напиться на
халяву**

Посвящается моему брату

На халяву и уксус сладок.

Пословица

and

Laurence Sterne

Разбуженный утренним гимном из репродуктора, я вышел на улицу с тяжкого и дурного похмелья с твердым намерением утопиться. Дело было в начале мая, когда кроны деревьев окружал еще легкий зеленый дым просыпающейся листвы, когда из подворотен подувало нелетним, знобящим отчасти ветерком, сулящим лихорадку и непокой, но грохот киянок по жестяным починяющимся крышам оттуда же, из подворотен, свидетельствовал о наступающем лете. Вышел я из громоздкого псевдомавританского здания на углу Литейного проспекта. Божьи часы на башне Спасо-Преображения показывали половину седьмого, над ними синело чистое окаянное небо.

Но весь этот утренний полу праздничный антураж не тронул мою закоснелую душу. Хотелось ей одного – забыть Палермо, эту страну поруганных надежд и несбывшихся упований. Впрочем, как вы понимаете, Палермо тут ни при чем, равно как и Рим или Вена. Виноваты, возможно, черные гибеллины. Впрочем, черт разберется в гибельной их природе. В том, что они заполонили обозримое пространство моей души, повинен только я сам. Только я, а никак не Зина, всего лишь несовершенное существо, однополое, даже не андрогин. О том же гласит и учение о свободе воли интеллигентного человека. Так что если она и высказала вчерашним вечером свое, надо сказать, сугубо отрицательное мнение о моем образе жизни, а также моральном облике, то тут еще не причина. Помнится, сквозь легкий туман сигаретного дыма я любовался ее воодушевлением, ее блестящими глазами, раскрасневшимися щеками.

– Зина! – сказал я. – Верь мне, все образуется.

– Дорогая! – продолжил я. – Я хочу умереть у тебя на руках в тот же день, что и ты!

Тут захохотали пьяные бородачи, а Зина заплакала. Она швырнула в меня надкушенным бутербродом и убежала. Видит Бог, у меня не было никакой физической возможности следовать за нею. Меня положили в темном углу и долго еще о чем-то бубнили и звенели стаканами...

Проснувшись, я тайно покинул очередное обиталище подвыпивших муз. Кое-как добрел до реки. И ныне стою на мосту через Фонтанку и напряженно вглядываюсь в прогорклые ее волны. Масляные пятна плывут по реке. Полузатопленный ящик и намокший детский берет. Небрежные блики плывут по ее поверхности. В вялой игре их – вся усталость забубённой моей души... Ничто не сбылось из моих прекрасных мечтаний. Вот застегну плащ потуже, чтобы труднее было барахтаться, и – пиши, наконец, пропало!

Да и впрямь – за что осуждать бедного самоубийцу? Вот он, выброшенный на берег какого-нибудь промышленного затона в устье Невы, лежит, задрав к небу слегка приплюснутый нос. Волосы его слиплись от мазута, очки, прижатые распухшими ушами, совсем не прозрачны. Да и нечем глядеть сквозь них, ибо глаза заплыли. На груди – привешенный к шее плакат с полусмытой, расплывшейся, но различимой надписью: «Я жил – и страдал. Я умер – и облегчился». Рядом – остов какого-то проржавевшего, полуразобранного транспорта.

Какая жалость, что Зина не видит меня в этот час торжественного прощания с действительностью! Сколь горестно-горделивая гримаса украшает мое доселе будничное лицо. Сколько смиренного достоинства выражает, может быть, несколько грузная фигура, сохранившая, впрочем, остатки былой стати! Нет, Зинаида, юница, не вам судить!

Итак, над героем сомкнулись мятежные волны. Здешние, правда, хлипковаты, кажется, для мятежных. Но внутренний взор матерого суицидчика и в них углядит достойный почтения реквизит. В путь, бедный Йорик!

Я приподнял было левую ногу, чтобы поставить ее на литой выступ перил, а потом перекинуть правую, но тут же отпрянул, закашлялся и расчихался. Пока я раздумывал,

наступило уже бодрое промышленное утро, и деловая активность, представшая в виде огромной ревущей «татры», выплюнула прямо в лицо мне огромный клуб зловонного, густого и ядовитого дыма. Из глаз моих потекли слезы. В их серебристом мерцании обозначился среди тающего дыма, кажется, знакомый мне абрис. Передо мной стоял друг моей юности, художник, которого звали, ну, скажем, Дмитрий.

– Здорово, Никеша! – приветствовал он меня, как бы совсем и не удивляясь нашей ранней утренней встрече. – Какими судьбами в этих краях? Головка небось побаливает?

– Салют! – неприветливо буркнул я. – Все-то ты знаешь, с тобой играть неинтересно...

– А это ты видел? – И он торжественно высунул из плаща белую полиэтиленовую головку. – Хирса! – гордо сказал он. – Самое то, что надо! Вмиг поправимся!

– Да я как-то, знаешь, не в настроении... – пробовал я отвертеться от неминуемого.

– Брось ты комплексовать, пошли к Гераклу! – быстро решил Дмитрий. В нашей юношеской компании решения принимал он, так что мне ничего другого не оставалось, нежели покорно за ним последовать.

Давным-давно, лет пятнадцать тому назад, мы облюбовали этот обширный, прохладный и уютный портик Михайловского замка. Стражи общественного порядка сюда почти не наведывались, и нам никто не мешал всласть напиваться. Отсюда сквозь спаренные колонны открывался чудеснейший вид на Мойку (в том месте, где соединялась она с Фонтанкой), на светлые зеленые купы Летнего сада. Портик обрамляли две массивные скульптуры из стареющего известняка; одна из них была фигура Геракла, опирающегося на палицу. Потому посещать это место и называлось – «пить у Геракла».

Дмитрий ловко, двумя сильными костлявыми пальцами, выдернул пробку. Образовалась легкая, характерно-радостная заминка алкогольного предвкушения.

– Ну, Никеша, над чем изволите вы работать? – улыбаясь с невыразимою добротою, спросил старый друг.

Сам характер вопроса, уже давно мне не задаваемого, и какие-то необычные его интонации вдруг меня удивили. Только тут я заметил некую существенную несообразность в его облике. Дмитрий сегодня выглядел поразительно молодым, именно таким, каков он был полутора десятками лет ранее. Когда я видел его в последний раз, где-то с полгода назад, это был старый, с трясущимися руками, со вмятиной в черепе, абсолютно спившийся человек. А теперь предо мною стоял молодой, милый Дима! Я пристально поглядел на него сквозь очки, но говорить на эту тему было мне неудобно. Он, кажется, заметил мой удивленный взгляд, но не сказал ни слова.

Когда-то Дима учился в Высшем художественном училище, стеклянный купол которого виднелся отсюда из полутьмы портика. Он был нашей гордостью, самый талантливый студент курса. Потом неожиданно бросил учебу, мотивируя решение тем, что ему здесь все ясно, а вокзал, построенный ректором заведения, – бездарная ерунда. Стал работать иллюстратором в литературных журналах нашего города. Дебют его был интересен, Диму заметили. Не счесть тракторов на полях, башенных кранов и чаек над ними, исполненных твердым Диминым карандашом и напечатанных в соответствующих номерах разных журналов. Но что-то не в радость пришелся Диме его успех. С годами все с большею скукой глядел он на Божий мир. Остальное – к чему досказывать?

– Понимаешь, Никеша, – говорил удивительно молодой Дима, – я твердо верю в твою звезду. Хотя человек ты нетвердый и закомплексованный, нитка Судьбы вьется в твоих непонятных глазах. Запомни мои слова, я ведь не люблю ложного пафоса. Будь требовательней к себе, не поддавайся на провокацию... Как твоя мама? Все пилит тебя?

– Да нет, нынче она в отъезде. У брата живет, в Барнауле. Есть только Зина, Зизи, так сказать. Души заманчивый фиал...

– Фиал? Это плохо. Тоже, стало быть, ты неудаха? Ну, ничего, пробьешься. Выпей, старик, и пошли все на...

Вино несколько прочистило мои мозги. С необычною силой реальности я вдруг увидел пыльные гранитные ступени, косо разрезанные темною тенью от Гераклова постамента, ровные швы между зеленых от старости, исходящих прохладой мраморных плит в глубине портика, мусорный каменный пол, по дальним углам усыпанный прелым прошлогодним листом. Когда я

отвлёкся от своего глубокого созерцания, друга рядом со мной уже не было...

Я потолкался взглядом между колонн, оглядел предлежащую панораму. Дима исчез. «Ах, Дима, что ж это он слинял, не прощаясь? – с горечью думал я. – А ведь он, наверное, никогда за всю историю нашей дружбы не был так сердечен и мил, как сегодня. И где он достал бутылку в такую рань?»

Меж тем вдоль чугунной ограды Мойки со стороны замка уже располагались любители-рыбаки. Они доставали длинные коленчатые удилица, блестящие и желтые, словно сработанные из полированной кости. Что-то свинчивали и цепляли, забрасывали в темную воду за парапетом. Я помню их еще с давних пор, когда Питер был вымощен квадратными известняковыми шипами с круглыми водосливами у водосточных труб, когда по булыжным мостовым бегали «эмки», «победы» и полуторатонки, а также пахучий гужевого транспорт; когда заводы, распугивая рыбу, призывали трудяг грустно-высокими, почти мистическими гудками. Помню, как их прорезиненные мешки для рыбы сменились полиэтиленовыми, а потом почему-то холщовыми, новую бедность которых только подчеркивал наведенный силуэт какого-нибудь сопотского певца. Помню их неторопливые движения, лица, застывшие в некой исполненной важной думы прострации. За день, потраченный на дурацкое торчание у парапета, они могли наработать на уйму рыбы, но они почему-то отсюда не уходили. На что же они надеялись? Поймать лосося в глубине мутной Мойки? Или забыть о пропаже прошлых надежд?

А, все едино. Надо искать местечко потише. Исполнение моего замысла требует большего уединения. Я же не какой-нибудь пошлый истерик, бравирующий собственной решимостью в тайной надежде на спасение! Дорогу осилит идущий, как говорили в начале шестидесятых годов. Не трусь, мужичина! С этими словами я вышел на набережную Мойки и отправился вдоль нее, что-то мурлыча себе под нос, ибо Димино вино все-таки действовало.

Я шел, а надо мной голубело немыслимое пространство. С трудом сдерживал я желание поднять голову и плюнуть в самые яркие и подлые участки неба. Ибо радостью исходило оно все же совсем неуместно. Особенно это желание усилилось, когда я, подняв воротник, боком проскальзывал мимо огромных кристаллов воздуха на Дворцовой. Ангел с колонны погрозил мне ясным крестом.

«Тубо тебе!» – хотелось мне крикнуть ему в ответ. Но я испугался такой невыгодной для меня конфронтации и поспешил шмыгнуть дальше, туда, где было грязней и немного тише. Только что петая песенка замерла у меня на губах. «Как же дошли мы до жизни такой? – горестно думал я. – Кто виноват?»

– Ты! – ответило мне воспоминание. – Ты, и больше никто. Почему ты отказался оформлять Планетарий в День астронома? Работа интересная и небезвыгодная. И матушку бы утешил...

– Нет никакого Дня астронома! – горестно молвил я. – Что ты мне лапшу на уши вешаешь! Да и не люблю я звезд... День гастронома – вот это другое дело.

– То-то и оно-то, – ехидно ответил я сам себе. – Что до гастронома, так здесь ты первый!

– И потом, – ответил я, не слушая, – наш семейный конфликт носил чисто духовный характер. Не надо мешать сюда грубую прозу.

– Ну-ну, – примирительно отвечал мне внутренний голос. – Ежели ты такой недотепа, думай как хочешь. Зачем же тогда задаешь риторические вопросы?

Полный внутренних прений, я брел, не замечая окружающего. Незаметно дошел я до Невского и пересек его, чуть не попав под блестящую импортную машину, что, впрочем, не нарушило моих тягостных размышлений. Долго тянулся этот ненужный и бессмысленный диалог, пока я не обнаружил себя в закускойной, там же, на углу Невского, стоящим в очереди за котлетами без гарнира, которыми здесь торговали. Когда-то, работая неподалеку, я частенько сюда заглядывал, так что и сейчас, по-видимому, забрел чисто автоматически. Я порылся в кармане и нащупал там горстку мелочи. «Что ж, совершить задуманное можно, в конце концов, и на сытый желудок!»

Примостив тарелку с котлетами на мраморный столик у окна, я машинально ковырял их плоской алюминиевой вилкой, у которой не доставало одного из средних зубцов. Вспоминал последний – ненужный и горький – разговор с матушкой, уехавшей надолго и далеко. Вспомнил и Зину – глупую девочку, сарафанная мудрость которой спасовала перед моим

сомнительным статусом непризнанного деятеля искусств. Постепенно я ощутил на своем лице чей-то твердый и неодобрительный взгляд. Поднял глаза и уставился прямо в лицо ханыги с подбитым глазом, который, напрягши крутые небритые скулы, глядел на меня неотрывно и мужественно.

– Ну что, пить будем или вола вертеть? – спросил он меня вызывающе.

– Простите? – не понял я.

– Пьем или весла сушим?

– Ну, вы как знаете, а я-то тут при чем?

– Слушай, кент! – сказал мне ханыга. – Ты из себя интеля не строй. Погляди в зеркало – у тебя же бодун третьей степени! Жалко смотреть на тебя. Да ты не мудри, я не собираюсь тебя колоть. Видишь пузырь?

У Машки взял, в Генерале! Давай по стакану! А ты со мной котлетой поделишься...

– Хорошо... – сказал я с сомнением. – Только учти – я на мели!

– Знаю, кент, не утомляй. Заметано.

Он разлил по стаканам какую-то гуталинного цвета жидкость, и я, чокнувшись с неожиданным собутельником и преодолев отвращение, выпил. На вкус оказалось – молдавский «розовый». Не сразу улегся он на дне моего желудка. Поерзал, поездил, как хоккейный вратарь перед матчем, и замер в исходной позиции. Вскоре легкий приятный хмель окутал мою забубенную голову.

– Ну, спасибо, опохмелил! – ласково сказал я своему неожиданному знакомцу. – Как тебя звать?

– Кеша! – Он протянул твердую мозолистую ладонь.

– И меня почти так же. Только Никеша. Честно, не вру.

– Да я вижу, ты не из таких. Художник?

– Да около этого. А как ты догадался? Вроде на мне ни бороды, ни берета...

– По взгляду. Взгляд у тебя острый, схватывающий. Я в вашем брате кое-что понимаю...

– Разбираешься? – спросил я с иронией, разглядывая разноцветный фонарь под его глазом и какую-то засаленную рабочую куртку. Он как бы и не заметил иронии.

– С Алепьевым водку пил, пока тот не усвистел, – сказал он. – С Рукиным, пока тот не накрылся...

Я опешил. Имена, им называемые, были широко известны в художественных кругах.

– Как же это тебя угораздило? – спросил я.

– Приговорим бутылку и отчитаюсь! – решил Кеша.

Мы допили портвейн. Странно – бутылка, которую мы распили с моим другом Димой, совсем не опьянила меня, а только взбудрила. Эта – подействовала. И, как всегда от портвейна, одновременно живительно и туманяще...

– Кто пьет портвейн розовый, тот ляжет в гроб березовый! – сказал Кеша. – Тайная мудрость элевсинских жрецов! Пойдем покурим?

Я глядел на него со все возрастающим удивлением. Да, не простой это был ханыга, не ординарный.

Мы вышли на набережную Мойки. Шумели юными кронами древние узловатые тополя, припекало солнышко, стройные студентки Текстильного института спешили мимо нас, забросив за спину сумки на ремешках, упоенно вдыхая запахи свежей листвы, нагретой воды и тины. Издалека, с Петроградской, донесся пушечный выстрел – значит, уже полдень.

Мы протопали дальше, вниз по течению. Некий укрытый отштукатуренным желтым забором с полукруглыми нишами, угревшийся в тишине набережной садик, усаженный чахлыми кустами акации и молодыми тополями, привлек наше внимание. Здесь стояло с пяток скамеек, и мы, выбрав ту, что была на солнечной стороне, присели и закурили.

– Значит, так, – сказал Кеша. – Сам я родом из Киева, с улицы, извините, Урицкого. Бывать не приходилось?

– Да вроде бы нет.

– Ну, так вот. Места там тихие, слободские. То есть сама-то улица шумная, но чуть свернешь – деревянные домики с галерейками, сады, тишина. Сейчас, говорят, это все разломали... Проторчал я в том вишневом раю до самой срочной службы. Бацал на гитаре

помаленьку, винтил какие-то гайки на «Арсенале». Призвали меня в летные войска, а как срок обучения вышел, послали в Египет, на оказание дружеской помощи. Часть наша стояла в пустыне. Первое, что я увидел, когда спрыгнул с грузовика, – лежит египтянин в солдатской форме, прямо среди белой пыли, и тяжело дышит. В него какой-то дурак-новобранец, феллах необстрелянный, случайно из винтовки пальнул. Снял я скатку, подложил ему под голову, водой из фляги лицо обмочил... Тот, чья винтовка выстрелила, молокосос, сидит на корточках, качается из стороны в сторону, что-то поет заунывное. Наши из кузова высыпали, окружили, смотрят со страхом и интересом. Война, мать ее...

Тут подскочил щеголеватый такой арабский офицер; стрелявшего – по затылку, пилотку сбил, что-то старшему нашему буркнул и на меня набросился. «Где, – говорит, – воинский дисциплину, аллах акбар!» – не суйся, мол, не в свое дело! Я над убитым присел, значит, братскую помощь оказываю. Тут старшой, Красногуб, командует: «Стройсь!» – ну, и мы в казарму почапали. Скатку я забирать из-под застреленного не стал. Мне из-за нее старшой всю душу вымотал: где, говорит, твоя полная солдатская выкладка?

Ну вот. Отсидел я свое на губе за скатку, и, думаю, тем дело и кончилось. Видел еще того офицера, он при ихнем штабе переводчиком работал. Поглядывал он на меня как-то пристально, непонятно, я думал – злится. И пошло как положено: у лейтенантов – вылеты, у нас, на земле, – хлопоты и ремонты. Жара, пыль, вода, как моча ослиная, солоня...

Однажды объявили у нас смычку и, конечно, братание. Ну, то есть совместный концерт художественной самодеятельности и дружеский чай с египтянами. В тот день была у них какая-то годовщина. На концерт я опоздал, завозился в каптерке, а когда пришел, тесно уже. Присел где-то в сторонке, смотрю, как ихний повар, толстяк, танец живота изображает, а солдаты, что наши, что ихние, ржут как жеребцы. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Оборачиваюсь – блестит глазами из полутьмы тот самый штабной египтянин. «Друг, – говорит, – идем в пески, два слова сказать».

Ну, малость я засомневался, все же страна чужая – что у него на уме? Да и комсостав если хватится – по головке меня не погладят. Друзья друзьями, а без присмотра контактировать не очень-то поощрялось, тем более с офицером. Огляделся – все, как и раньше, на повара глаза лупят. Ладно, думаю, ничего страшного. И потопал в пустыню за египтянином.

Отошли мы на приличное расстояние, присели на корточки по ихнему обычаю; от ветра и лишних взглядов скрыл нас невысокий бархан, да и тьма стояла – кромешная.

«Меня имя – Али!» – говорит египтянин. «А меня Кешей кличут!» – я ему отвечаю. «Кеша, – говорит мне египетский офицер, – ты хороший – жалель человека. Я хочу тебя угостить, – и достает из кармана флягу. – Выпей, друг, твой здоровье!»

Ну, я отказываться не стал. Глотнул пару раз, оказалось – ром. Отпил немного – для приличия. Протянул фляжку Али. «Дерни и ты, за знакомство!» – говорю. Тот фляжки не принимает. «Нет, – говорит, – не обидься, но я не пью. А сам – продолжайвай, не стесняйся!»

Я, конечно, продолжил. Разговорились. И здорово мне этот парень понравился. Хоть и в чинах офицерских, и образованный, но держится как равный с равным. И не подстраивается, никакой, знаешь, в нем задней мысли. Поделился я с ним, какие мои планы на дальнейшее гражданское будущее. Про детство рассказал на улице, сам понимаешь, Урицкого. А он мне – кое-что о себе. А потом замолчали.

Молчим, а над нами тихое небо, полное звезд. Тишина оглашенная, только верблюжья колючка тихо шуршит от ветра. Тут-то и поведал он мне полупшепотом, что здесь, в этих краях, есть один таинственный город. Основал его египтянин по имени Зу-н-нун аль Мисри. Ничего себе имечко? Ну, так вот. Мало кто этого города достигает. Но живут там люди счастливые...

«Сам-то бывал там, Али?» – спрашиваю. «Бывать не бывал, – отвечает, – а видел... верхушки его минаретов. Туда попасть не так-то легко. Но ты имеешь шанс, я это понял, когда увидел тебя. Правда... захочешь ли ты туда?» – «А что?» – спрашиваю. «Да ничего, – говорит. – „Если кому-то случайно удастся попасть в город тайн, за ним захлопываются двери, и он уже не вернется туда, откуда пришел..." – это сказал Саади. Слышал о нем?» – «Слышал! – говорю. – Ну, да я паренек не робкий. Только туда, наверное, немусульман не пускают?» Али засмеялся. «Плохо знаешь! – говорит. – Все веры – лучи одного солнца, имя которому – аль Хакк – Истинный...»

– Ишь завернул, – сказал я лениво, бросив докуренную папиросу. Кеша внимательно посмотрел на меня, выдержал паузу и, ничего не ответив, продолжал:

– Ну, я, конечно, понял, куда он гнет и что город тот на карте не обозначен. Однако чем-то меня этот разговор зацепил. Долго я раздумывал о нашей беседе тем вечером, распивая с арабами дружеский чай под ночным звездным небом...

Виделись мы еще несколько раз, беседовали. Часто – оперативная обстановка не позволяла. Потом его перевели куда-то, кажется в Асуан. На прощанье он мне говорит: вернешься на родину – поезжай в Ленинград. Там я учился в Академии тыла и транспорта. Остались в том городе у меня, говорит, кореша, они тебе дальнейшее растолкуют. Вот телефон, будешь в Питере – позвони...

Вот так я и оказался в этих местах. После армии приехал, поступил на философский, вне конкурса, как демобилизованный.

Только через полгода меня вычистили за субъективный идеализм. Но это меня уже не затронуло. Много я к тому времени понял, кое-чему научился. Зажил правильной жизнью. Тогда и с Алепьевым познакомился.

– Где же ты прописан? – спросил я у Кеши.

А нигде. Ночую теперь по ученикам, а есть захочется или выпить – иду в продуктовый, таскаю ящики. Ну, мне там кинут за работу бутылку красного да полкило ливерной, и порядок. В общем, живу – не скучаю. Есть с кем словом переброситься. Много на свете душ, стосковавшихся по любви. Главное, сам понимаешь, в этом. Вся суть учения... Тут меня осенило.

– Так ты, стало быть, и есть – «Одетый в грубую власяницу»? Я ж о тебе краем уха чего-то слышал!

Он усмехнулся:

– Так меня хипари называют, желторотая молодежь. Любят сказать поторжественней. А я в пророки не лезу. Просто однажды видел, как огонь любви сжигает налетевшего мотылька...

– Потому и меня опохмелил?

– День для тебя сегодня небезопасный. Ну, мне пора. Будь на стреме.

Мы ласково попрощались, и он ушел.

Я остался сидеть на скамейке, не без приятности ощущая, как теплый хмель гуляет в моих жилах. Я думал: в чем секрет этих встреч, случайных, но истинно ценных? То друга юности встретил я, бедный Йорик, то хорошего человека с подбитым глазом... Я ведь не искал утешения, но лишь забвения своей никудышной жизни. Но случай не хочет оставлять меня одного. Есть в этом некое не понятое мной назидание, некий скрытый пока что внутренний смысл... Впрочем, зачем это мне, человеку решившемуся?

Солнце меж тем призадержала легкая белесая дымка наступившего дня. Мягкие лучи его, пробиваясь сквозь нечастую листву одинокого тополя, с такой ласкою омывали мое раскрасневшееся от хмеля лицо, что я и не заметил, как задремал. Голова моя запрокинулась, ноги вытянулись. Наткнись на меня участковый или просто не в меру ретивый общественник, русло нашего повествования дало бы резкий изгиб в сторону вытрезвителя. Но такого несчастья со мной не произошло, ибо, как я подозреваю, вещий сон, который меня посетил, сделал меня как бы невидимым для недоброго глаза. Сон был такой: сначала шли титры, но странные, в виде то меандра, то каких-то еще знаменитых древних узоров, вроде стилизованных морских волн с закрученными гребнями. Потом выплыли яркие и крупные буквы названия:

ПУРПУРНЫЕ КАМНИ

...ТРИ ЖЕНЩИНЫ В ХОЛЩОВЫХ ХИТОНАХ. ВСЯК ЖИВУЩИЙ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ ПРИПОМНИТ ТЯЖЕЛЫЕ СКЛАДКИ ИХ ОДЕЯНИЙ, ИБО СРОДНИ ОНИ ИЗВИЛИНАМ НАШЕГО МОЗГА, ПРАОТЧЕСКИ ИХ ВОСПРОИЗВОДЯТ; В БЕЗДОННОМ НЕБЕ – НИ ОБЛАЧКА, НИ ВЕТЕРКА – ВЕКАМИ. ЛИШЬ КЛУБИТСЯ У НОГ МАТОВАЯ КУДЕЛЬ, БЕСЦВЕТНЫЙ, БЕЗВИДНЫЙ ХАОС – ИЛИ ТО ОБЛАКА ГОРНОГО УЩЕЛЬЯ ПРИДВИНУЛИСЬ К ИХ СТОПАМ? ИЗРЕДКА НАКЛОНИТСЯ ПРЯХА, ПРИКОСНЕТСЯ К ПРОЗРАЧНОЙ НИТОЧКЕ БЛЕДНЫМ РТОМ – И ВОТ ЗАЗМЕИЛАСЬ ПЕРЕКУШЕННАЯ НИТОЧКА ВНИЗ, В КЛУБЯЩИЙСЯ МАТОВЫЙ ПРОИЗВОЛ. И ШЕРШАВЫЕ, НАГРЕТЫЕ СОЛНЦЕМ КАМНИ, ЗА КОТОРЫЕ НОРОВИТ ОНА ЗАЦЕПИТЬСЯ, НЕ УДЕРЖАТ ЕЕ

НИКОГДА. МОНОТОННУЮ ПЕСНЮ СПОЮТ ЕЙ ВОСЛЕД ГЛИНЯНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВЕРЕТЕНА.

НО И ПРЕКРАСНА ЭТА КАРТИНА. ВЗГЛЯНИ: ЯСНОЕ НЕБО, БЕЛОЕ СОЛНЦЕ, ПУРПУРНЫЕ КАМНИ ОБРЫВА. ТРИ ВЕЧНЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ОБЛАЧЕННЫЕ В СКЛАДЧАТУЮ ОДЕЖДУ, И КАЖДЫЙ ИХ ЖЕСТ – СОВЕРШЕНЕН.

«Хм-хм, – размышлял я, тут же проснувшись. – Стало быть, я не властен в своей судьбе, а решают ее некие высшие, так сказать, силы? А как же с учением о свободе воли интеллигентного человека? Нет, шалишь! Меня на красивом сне не объедешь! Столько мук, унижения и бедности принесла мне моя высокохудожественная честность, столько злого, безнадёжного и порочного угнездились в бытии, не видящем реального, самого пусть затрапезного выхода, что меня и вещие сны уже не зацепят! Да и кому я нужен теперь, лишенец и утомленец? Разве что Зине? Зина! Зачем же ты обличила меня при помощи надкушенного бутерброда? Твой нетерпеливый и глупенький жест, может быть, и переполнил чашу страданий. Горюй потом, вспоминай отчаявшегося Никешу! А он будет себе лежать на заляпанном мазутом песке, одинокий и отрешенный, и ничто уже не шевельнется ни в его холодной груди, ни в ширинке!»

С трудом оторвался я от своих грустных мыслей. Оглядевшись, увидел, что остальные скамейки тоже теперь не пустуют – по двое, по трое занимает их какая-то пестро одетая молодежь. Все явно были друг с другом знакомы, переходили от скамейки к скамейке, перебрасывались двумя-тремя ленивыми фразами. Держали в руках недлинные круглые палочки или трубочки, толком я не разглядел. Изредка они подносили эти штучки к глазам и подолгу всматривались в бледное небо. Бережно протягивали их друг другу и снова смотрели. На меня не обращали они ровно никакого внимания.

Легкая послесонная слабость еще не отпустила меня; я не спешил уходить отсюда. Сидел, развалившись по-прежнему, вытянув нога, в расстегнутом плаще, лениво созерцая происходящее.

«О, пополнение!» – подумал я, глядя, как в садик проходят два миловидных юнца. Обняв друг друга за талию, старательно повиливая бедрами, они прошлепали к моей скамейке и плюхнулись рядом.

– Мульти! – сказал один другому, тому, кто был потемней волосом. – Ты что это там сосешь, сосуночек? Никак леденец? Дай и мне, солнышко!

– Ишь какой! – ответил Мульти капризно. – Самому сладко! Не дам!

Беловолосый надул полные губы:

– Ну и не надо! Противный!

– Шучу, шучу, глупенький! – промурлыкал Мульти. И тут они проделали штуку, от которой меня изрядно-таки покорило: Мульти поднес свои губы к полным губам другого и языком перетолкнул ему в рот что-то твердое, видимо упомянутый леденец. Оба покосились на меня с важностью во взоре.

«Дела!» – подумал я, собравшись уйти, но тут ко мне подседа девица в холстинковых брючках, не слишком причесанная, с жестяными очками на горбатом носу. Она решительно протянула мне руку.

– Бастинда! – представилась девушка. – Ты что, тоже из этих... из голубых?

– Каких еще голубых? – пробурчал я довольно-таки неприветливо.

– Нет, значит? Что ж ты тут с ними рассиживаешься? Гони! – И после значительно выдержанной паузы она повернула голову к соседствующей парочке: – А ну, Пульти с Мультией, педа... гоги несчастные, семените отсюда! Вон скамейка в тени! Живо!

– Ты вредная! – сказал Мульти.

– Ты у нас слишком ласковый! Ну, кому сказано!

К моему удивлению, юнцы безмолвно ей покорились. С видом обиженным и несчастным, но без тени смущения они удалились в другой угол сквера.

– Ты мне так и не сказал, кликуха у тебя какая? – спросила Бастинда.

– Кликухи нет, а зовут – Никеша.

– Никеша? Попсовое имечко. На чем торчишь?

– Торчу? Кайф ловлю, значит?

– Кайфуют одни алкаши. Торч твой в чем заключается?

– Торч? Наверное, в искусстве... Художник я бывший.

– А я думала, тебя привел кто-нибудь из наших...

– Кто же это – ваши?

– Мы? Мы хорошие. Ты на голубеньких не смотри, это приبلудные, жалко их, вот и терпим. А мы дети чистые – от мненья торчим!

– От мненья? Это как же?

– Проще простого. У меня флэт рядом с Московским вокзалом, окнами на дрожку. Собираемся, садимся вокруг окна и секем. Если долго глядеть, приход огромный! Как от самой крутой масти!

– Что ж это за дрожка такая!

– Дрожка? Ну, табло у Московского вокзала! Знаешь? «Смотрите на экранах...» Но это для тех, кто не врубается. Мы там надписей не читаем, мы на дрожи торчим...

– А здесь зачем собираетесь?

– Понимаешь, дрожка-то перекрыта. Сейчас белые ночи. Усек? Вот мы и сходимся в этом садике. А чтобы не скучали, раздала я детям волшебные палочки... Чтобы о дрожке не забывали, на глупости не отвлекались. Некоторые так еще круче торчат!

– Послушай! А ты им книжки давать не пробовала? Ну, для начала майора Пронина...

Она глянула на меня сквозь очки глубоко, неожиданно пронизательно. Потом глаза ее потускнели, стали пустыми и равнодушными.

– Пап-пап-пап, пара-пап, – сказала она. И прибавила, лениво растягивая слова: – Листалово? Нет, нам по кайфу дрожалово...

– Ну-ну, так держать! – хмыкнул я иронически.

– От самого небось за версту винищем шибает, а туда же, советы подавать! – парировала она неожиданно резко.

– Покажи палочку-то волшебную, – примирительно молвил я.

– Тоже поторчать захотелось?

– Да нет, интересно просто.

Это был обыкновенный детский калейдоскоп. Я повертел его перед глазом, с удовольствием глядя на разноцветные, праздничные перемены, там совершавшиеся.

– Ну как? Нравится? – спросила Бастинда. – Ишь присосался – не оторвать!

Я отдал игрушку.

– Да, пацанва, красиво живете...

Бастинда внезапно и резко толкнула меня в бок.

– Ты послушай! – сказала она доверительно. – Знаешь, что было? Тут вся эта хунта шабила, кололась, на колесах сидела! Такие были прихваты, что ой-ой-ой! А сейчас? Покупай глазелку за семьдесят пять копеек – и наслаждайся! Дошло?

«А ты штучка совсем не простая! – подумал я. – Везет мне сегодня на миссионеров...»

– Значит, клин клином? – спросил я, усмехаясь.

– Значит, что так! – сурово ответила она. – Хочешь, я тебя с кадриком познакомлю? Самый настоящий втянутый плановой. Он тебе порасскажет, что у него к чему. Тогда и рассудишь, как лучше, так или эдак.

И, не дожидаясь, крикнула сидевшему в отдалении испитому на вид мужчине:

– Эй, Стеба! Иди сюда!

Тот молча поднялся и понуро приплелся к нам. Выглядел он нездорово, был одет бедно, сел рядом, не поздоровавшись, глядя в землю.

– Как жизнь? – спросила Бастинда.

– Нормально! – равнодушно ответил он.

– Ножик еще не вышел?

– Нет, слава богу. – Он усмехнулся чему-то горько и вызывающе.

– Расскажи, что у вас такое с ним получилось. Может, я помогу, помирю вас, мы ведь с ним в норме...

– И мы не ссорились.

– Не ссорились, а сам невеселый ходишь. Ладно, давай рассказывай.

– Как хочешь, скрывать тут особо нечего.

Он поднял голову, и я увидел, что у него ослепительно голубые глаза. Подержав меня с полминуты в их интенсивном и чистом сиянии, поерзав, усаживаясь поудобнее, он рассказал:

– Они тут прозвали меня – Стебок. Стебок, чекануха и пыльным мешком ударенный. Есть с чего стебануться...

Значит, так: Верка влюбилась в Ножику. И до того она, дура, в него влюбилась... Ну просто по-черному!

Ножик живет один – у него комната в доме на Владимирской, вход со двора. А что значит – вход со двора? Это значит, пока мимо мусорных баков, да по досочке через канаву, да по вонючей крутой лесенке доберешься, весь торч поломаешь. Однако к нему ходили. Все же – своя комната, опять же – парень он добрый и компанейский, если, конечно, ему не перечить. Да попробуй попри на него – боже избавь! Ну, все этот его недостаток знали и обходились с ним вежливо. А так – он кентуха что надо, последним поделится.

Вот за это Верка, видать, в него и влюбилась. Нагляделась, как он над Гендриком хлопотал, из припадка его вытягивал, холодное полотенце ко лбу прикладывал, и кранты. «Добрее Ножику, – говорит, – никого и на свете нет». Это про Ножику-то! Ну, баба!

Я-то до них давно равнодушный, мне б покурить или, на худой конец, чайку крепенького – полежать, в потолок поглядеть, как бегут по нему облачка розовые, величальные облака...

Он немного помолчал, откашлялся и продолжал задумчиво:

– А колоться я не люблю. Приход с того сильный, не возражаю, но как-то больницей отдает это дело, шприц дрожит отвратительно... Ну вот. С того самого случая с Гендриком стала она ходить на Владимирскую. «У тебя, – говорит, – не прибрано, Ножичек, – давай хоть пол подмету...» – «Да брось ты, одна только пыль от этого!» – «А я, – отвечает, – водичкой побрызгаю, и ништяк». Так и кружила по комнате несколько дней, пока Ножик терпение не потерял. «Знаешь, – говорит он, – кончай ты это кружение и мельтешню, – наркота ведь народ ехидный, в кулачок прыскают. А если уж так тебе хочется, приходи ты ко мне пораньше, чтоб людей не смешить, – и занимайся».

Я примечаю, она к нему ходит. В комнате стало чисто, на столе – салфеточка с вазочкой. Гендрик однажды, под планом, хотел в ту салфеточку высморкаться, но Ножик не дал. «Не тронь, – говорит, – не тобой поставлено!» И так взглянул на Гендрика, что тот, хоть и обкуренный, растерялся.

А в остальном все по-старому. Придет она позже к вечеру, подшабит и на Ножику пялится. Умора, ей-богу. Ну, мне-то что, я человек безобидный...

Прошла пара месяцев. Однажды, когда народу собралась полная комната, Ножик встает из-за стола и говорит: «Вот что, гаврики, Верка у нас курить завязала. Она обращается к новой жизни, идет работать на фабрику Ногина упаковщицей. Сами засеките и другим передайте: если узнаю, что кто-то из вас поделится с ней дурью, – я из того черепаху сделаю. Усекли?» – «Усекли, – говорят, – Ножичек, не заводись. Нам-то курнуть можно? Или сбегать на угол за мороженым?» – «Цыц, – говорит Ножик. – Курите себе на здоровье да со мной поделитесь, я на нуле».

И все бы ничего было, кури не кури, кому какое дело, если б не этот дурацкий случай.

Значит, так: идем мы с Ножиком и Веркой по Владимирскому проспекту, солнце не светит – пасмурно. Время еще не позднее, однако какой-то шкет лежит, загорает рядышком с урной – до бровей налился. «Постой, да ведь это Серега! – говорит Ножик. – Я ж его мать хорошо знаю, она к моей забегала, когда еще та живая была! Знаю, где он живет, – на Стремянной. Давай-ка его оттащим до хаты». – «Ну, давай».

Только мы за шкета этого взялись, откуда ни возьмись – товарищ майор Половинкин на горизонте. «Вы куда?» – спрашивает. «Да мы вот знакомого до дому доставляем!» – отвечает ему Ножик. «До дому? Это вы-то до дому, проходимцы? Небось разденете в ближней парадной? Знаю я вас». – «Зря обижаете, товарищ майор! – отвечает ему Ножик. – Что было, то уж прошло. Я его матку хорошо знаю. А он – пацан смирный, только зеленый еще».

И все б ничего, уговорили бы майора, да вдруг ПМГ подваливает. Оперативные, сволочи, когда не надо. Выскакивают оттуда двое сержантов штампованных – и к майору: мол, в чем дело да чего прикажете. «А вот тут пьяный в общественном месте, отвезите его куда следует! –

говорит товарищ майор (своих застеснялся, должно быть, принципиальность показывает). – А то, говорит, непорядочек у нас получается!»

Тут, как на грех, Верка высунулась: «Отпустите его с нами, пожалуйста, он в двух шагах проживает!» – «Ну, ты-то молчи, такая и растакая и подзаборная!» – грубо отвечает ей Половинкин. Видно, здорово им начальственный дух овладел.

Я гляжу – Ножик завелся. Только хотел шепнуть: мол, хладнокровнее, Ножик, держись, – а он возьми да и врежь начальнику между глаз!

Тут его штампованные крутить стали крестьянскими своими ручищами да в машину заталкивать. А в машине – третий на стреме, Ножика принимает. Затолкали, и слышны оттуда глухие удары.

«Ну, ты, доходяга, – говорит мне товарищ майор, потирая ушибленный лоб, – помоги алкаша погрузить!»

Что делать, пришлось, плача от внутренней боли. И ведь не погнушался, скотина, майорские руки свои марать, лично пьяного в машину забрасывать. Да уж он такой, давно известная птичка!

Поглядел на бледную Верку и говорит: «А ну, и ты полезай, шалава! В отделении разберемся!» – «С удовольствием!» – отвечает она вызывающе, и бледная, нехорошая улыбка у ней на губах.

Меня они не забрали – места свободного, что ли, не оказалось. Стою я на Владимирском, чую: ноет мое сердце, томится, плачет по травке. А травки – ни косячка! Нечем избыть мне свою тоску!

Весь вечер слонялся я по знакомым, просил у них дури. Ну, да плановые – народ такой: есть у тебя – угощать лезут, а нет, так не выпросишь – все ж, отвечают, товар дорогой, дефицитный. Ну, взял я большую серебряную ложку, которую берег – мне ее подарили на счастье, когда родился, – и снес ее на Кузнечный рынок, загнал какому-то азиату за три рубля. Хана мне без ложки заветной, думаю, ну, да уж все одно. Бегал-бегал, все же добыл косячок. Несу домой, к сердцу прижимаю, вот, думаю, и лафа. И вдруг – Верку встречаю на перекрестке, только что отпустили. «Ну, что Ножик?» – спрашиваю. «Дали, – отвечает, – пятнадцать суток. Падлы!» – кричит и плачет прямо у меня на плече. Ну что с бабьем сделаешь?!

Поутихла и мне говорит, а сама дрожит вся: «Миленький, – говорит, – голубчик и зайныка, курнуть у тебя не найдется?» – «Да ты что, – отвечаю, – окстись, Ножик давать не велел!» – «Прошу тебя, – говорит, – заклинаю во имя Бога живого – дай покурить!» И где она слов-то таких наслушалась...

Ну, и отдал я последний свой, с трудом добытый и радостный косячок. Сам же и зарядил беломорину. Посадил в скверике на скамейку и сунул ей – на, кури. И таким вкусным и страшным дымом от нее веет, что стало мне, братцы, невмоготу. Да ничего, перемогся – пошел домой и лег спать.

А они говорят – «Стебок», «чекануха». Тебя теперь, говорят, Ножик со света сживет, дай ему из отсидки вернуться! Ты его слово знаешь!

Вот и хожу невеселый, сутки считаю. Восемь суток он уже отсидел.

Мы долго молчали. Потом Бастинда протянула ему картонную трубочку и сказала с выражением простой бабьей жалости:

– На, поверти, авось приторчишься... И полегчает...

Тут рассказчика взорвало.

– Да на кой он мне нужен, твой перископ! – злобно выкрикнул он. – Что я, вообще, контуженый?

Она потерянно замолчала. Мы снова посидели, друг друга как бы не замечая, думая каждый о своем. Наконец к ней вернулась обычная самоуверенность.

– Ну, сделал выводы? – спросила меня Бастинда. – Врубаешься, что к чему?

– Мне трудно судить, у меня ведь свои разборки, не хуже ваших. Одно скажу тебе твердо

– пить я сегодня бросаю, и навсегда. Так что лихом не поминайте.

Уходя, я оглянулся. На скамейках, пятнистых от солнечного света, сидели развеселые юнцы и юницы. Они задирали головы к небу, глядя на него сквозь волшебные трубочки, и на их свежих лицах трепетали проникшие сквозь листву живые небесные блики. Только Бастинда сидела нахохлившись, невеселая, напряженно о чем-то думая...

Я вышел на Мойку. Темная вода ее была кое-где покрыта матовыми участками дневной пыли, между которыми спокойно возносились изумительные фасады питерских зданий. Некое специфическое блистание, свойственное пространствам города – днем и среди белой ночи, – пронизывало окружающий оком. Гранитный парапет на той стороне реки был затенен и оттого чуть таинственен. Несколько подалее переходил он в глубокий тоннель Синего моста. Под мостом молотил мотор низкой барки, оттуда доносились какие-то невнятные крики. Мной овладело легкое беспокойство, и я с опаской подумал, что свидетельствует оно о приближающемся похмелье. Но мне не суждено было сосредоточиться на этой трагической мысли. От высокого крыльца с чугунными стоечками порскнул мне под ноги и, рассыпавшись, превратился в миниатюрную девушку, потирающую ушибленную коленку, пестрый комок. Я замер, до крайности удивленный. Довольно-таки странное зрелище представляло собой это юное существо. Голову его венчала допотопная шляпка из велюра с подколотой вуалеткой, которую украшали несколько выцветших иммортелей. Руки до локтей были обтянуты желтоватыми лайковыми перчатками. На груди красовалась огромная бриллиантовая брошь в виде подковки. Довершали одеяние высокие остроносые ботинки.

– Чем стоять-то, как увалень, могли бы и помочь даме подняться! – бросила незнакомка, стирая грязный след на щеке вместе с густым слоем румян. Другая щека так и осталась нарумяненной.

– Истинно так, извините. Я несколько растерялся... Позвольте вас отряхнуть...

– Позволю. Только осторожней, здесь кружева... А я, между прочим, по вашу душу...

–...?

Удивлению моему не было предела. Я мог поклясться, что вижу ее первый раз в жизни.

– Чем могу служить? – спросил я как можно мягче.

– Поднимитесь к нам, если не трудно. Я живу в четвертом этаже... Там я вам все объясню.

– С удовольствием!

Резная тяжелая дверь захлопнулась за нами, погрузив нас в прохладное, полутемное после яркого дня чрево парадной. Тянуло сыростью откуда-то из подвала. Тяжелые лепные карнизы, голландская печь с оторванной дверцей, медные шишечки перил свидетельствовали о том, что некогда в этом доме селились люди богатые. Традиция эта, по-видимому, соблюдалась и поныне – прихожая в квартире у незнакомки была убрана весьма презентабельно.

– Можете снять свой плащ! – небрежно бросила она. Тут я несколько приуныл и замешкался, ибо проведенная на замусоренном полу ночь, конечно, не украсила моей и без того нешикарной одежды.

– Привела? – раздался из комнаты надтреснутый старческий голос.

– Да, дед, мы сейчас! – ласково отвечала юница.

Мы вошли в комнату, где царствовала тяжелая ампирная мебель карельской березы. Светлые ее панели ощеривались вдруг грифоньими клювами; львиные разверстые пасти зияли из-под мраморных прессов консолей, орлиные лапы столов и кресел впились в паркет цепко и угрожающе. На одной из консолей, рядом со мной, стояли бронзовые часы, где Смерть в складчатом тяжелом плаще, покрытом блестящей темной патиной, острила косу о мраморное точило. Я машинально покрутил ручку. Тут же раздался бой, и часы заиграли – тилинь-тилинь – какой-то волшебный и опасный мотив. Я смешался.

– Извините, – сказал я в пространство и увидел в углу за письменным столом огромного седовласого старика, глядевшего на меня из-под кустистых бровей строго и вопрошающе.

Молодой человек, не отвлекайтесь! – с достоинством вымолвил старец. – Я имею задать вам один вопрос: почему мы все хорошо знаем, что Мольера зовут Жан-Батист, а имени Вольтера – не помним? Или вы-то как раз помните?

– Ну, – мямлил я, напрягая последние ресурсы своей весьма неглубокой учености, – ну, помнится, Дю Белле звали Иоахим, стало быть...

Старик тем временем что-то крестиком пометил в своих бумагах, лежащих кипюю на столе, и, не дав мне закончить вконец измучившей меня фразы, бросил величественно:

– Благодарю вас. Не смею задерживать. Остальное вам объяснит Мария Николаевна...

Несмотря на отчетливое пожелание старца, я остался стоять как прищипленный. Дело в том, что мое внимание привлек и неотрывно удерживал старинный дагерротип в лакированной рамке, висевший над столом. В юной девушке, на нем запечатленной, я узнал... Зину! Она стояла на фоне садового боскета в белом кружевном платье, отставив ногу в остроносом блестящем ботинке, опираясь на длинный белый же зонт с костяной ручкой. У ног ее примостилась пушистая маленькая болонка. Глаза у Зины были очень печальные; никогда я не видел у нее вживе столь примиренного и вместе с тем безнадежного выражения...

Старик заметил, что портрет меня заинтересовал. Важно кивнув в его сторону, он промолвил неторопливо:

– Моя первая жена Зинаида. Умерла в одна тысяча восемьсот четырнадцатом, по двадцатому году... Вам она кого-то напоминает?

– Н-нет, – ответил я неуверенно, а потом уже тверже: – Нет-нет!

– Ну-с, тогда следуйте за Марией Николаевной. Да, вот что, Маша, позаботься, чтобы молодого человека убогатворить... Ну, ты меня понимаешь.

Последнюю фразу я счел довольно-таки бестактной, но препираться с главою семьи в его доме счел бестактностью еще большей и, не проронив ни слова, вышел вслед за Марией Николаевной.

– Мой дед – доктор психологии! – прошептала она с горячностью. – Он выдающийся человек и к тому же рыцарь, да, рыцарь! Понимаете, что это значит?

– Несомненно! – сухо отрезал я.

– Сомневаюсь! – не менее сухо отвечала она.

Я готов был совсем разобидеться и покинуть сие странное обиталище, но мы уже оказались в темном коридоре, где, перегораживая его наполовину, стоял огромный платяной шкаф.

– Милый сэр! – сказал девушка грудным голосом. – Помогите леди задвинуть шкаф в приличествующую ему нишу! Он не тяжелый, поверьте, там уже все разобрано!

Делать нечего. Я стал двигать в сторону ниши это увесистое сооружение. Девушка мне помогала или думала, что помогает, но больше лгнула к моей спине острыми маленькими грудями, обдавая возбуждающим запахом молодого чистого тела вперемешку с какой-то изысканной парфюмерией. Легкие касания ее рук казались вроде бы и случайными, но целенаправленно-возбуждающими, так что, несмотря на их настораживающую судорожность, привели меня в довольно-таки злачное состояние духа. Когда с задвиганием шкафа было покончено, мы стояли друг против друга уже весьма разволнованные.

– Да, еще полки надо расставить! – неуверенно прошептала она. – Полезайте вовнутрь...

И как только я оказался в просторной глубине шкафа, дверца его вдруг затворилась изнутри, и меня облепили жадные и горячие члены молодого и страстного существа.

– Ланцелот, приди ко мне, Ланцелот... – шептала она со все возрастающим возбуждением.

Не стану описывать подробностей моего пребывания в шкафу, скажу только, что все в этой птахе показалось мне настолько родным и знакомым, что, когда дело подходило уже к моменту безоговорочного слияния, я невольно прошептал:

– Милая... Зинаида...

Я даже и помыслить не мог, что моя, в общем, конечно, непростительная оговорка вызовет столь бурную реакцию. Я вдруг оказался решительным образом отринутым, маленькие острые кулачки били меня по плечам, и голос, полный горечи и отчаяния, восклицал:

– Зинаида! Всегда Зинаида! Злой рок преследует меня!

– Помилуйте, Мария Николаевна! – воскликнул я в неумелой попытке хоть как-нибудь оправдаться. – Вы меня неправильно поняли...

Но, увы, все было кончено. Она вытащила меня за руку на свет Божий, и уж не знаю, какая из ее щек была ярче: нарумяненная или та, с которой румяна были недавно стерты, но которая горела от возмущения. Уж и не помню, как я вырвался из этой болезненной, я бы сказал, ситуации. Обрел я себя боязливо шагающим мимо величественного здания горсовета.

Рука моя машинально, но цепко сжимала горлышко портвейной бутылки. Я поглядел на этикетку. Так... Опять «розовый». Стало быть, в город завезли крупную партию... До чего же я докатился – со мною уже расплачиваются натурой. Что ж, по Сеньке и шапка!

«Что за странный сегодня день! – размышлял я в раздражении. – То какие-то вещие сны, то мистические ханыги или вот, нате вам, сумасшедшие какие-то аристократы с довольно-таки сомнительными наклонностями... Ну зачем, почему случилась вся эта неожиданная нелепость? При чем здесь шкаф? И при чем здесь Зина? Или то, что я широко грешен и отчаянно сластолюбив, и без того мне неизвестно? Что за шутки? Поймать на улице... Заморочить вопросами... Соблазнить и отринуть! Морок, морок, все это морок!» И я вдруг затосковал по своей оставленной, в лучшие годы добытой мастерской. Даже проплешины отлепившейся штукатурки на наклонном потолке моей милой мансарды, забранные крест-накрест, по-старинному, тонкою, побуревшей от времени дранкой; печные трубы за окном, пусть уж и не курящиеся давно остановленным дымком; трехногий топчан, поддержанный с одного угла в стопку сложенными кирпичами, – показались мне милыми и влекущими. Подойдешь к мольберту, прицелишься, кинешь мазок на грунтованную холстину – и стоишь, долго всматриваясь, машинально прислушиваясь к гудению водопроводных труб в коридоре. И такая на душе приподнятая тишина, не знаю, поймут ли меня, именно приподнятая, именно тишина, беспорочная, творчая! И не нужно ни бормотухи, ни баб, ни заказов, чреватых крупной капустой, ни каких-нибудь там даров и отличий – ни черта! Только Оно окружает тебя, Оно, лишенное свойств, но бездонно-глубокое и единственно сущее... Может, вернуться к себе, в милую мастерскую, и начать новую жизнь? Впрочем, куда девать портвейн «розовый»? Не выбрасывать же его, право слово, в то время как сохнут губы и начинается побаливать голова. Впереди, как будто, пивной ларек... Там и вдену.

Я подошел к ларьку, примостившемуся прямо у парапета. Пьющие пиво расступились передо мной, пропуская в конец очереди, с уважением посматривая на бутылку, отодвигавшую плащ на груди и казавшую белое горлышко из-за пазухи. Тем временем солнце, горящее поверх крыш и густых старинных тополей, которые вместе с рекой поворачивали куда-то, сбавило силу. В его свечении появилось что-то темное и тревожное. Было еще около четырех часов дня, но неуловимый перекося в сторону вечера уже совершился. В торжественном и глубоком, каком-то оцепенелом молчании ожидали пьющие своей очереди. Красные воспаленные лица, трясущиеся руки, глаза, застывшие в созерцании внутреннего опустошения, которое приносит человеку похмелье. Здесь были люди разного возраста, по-разному одетые: служащие в костюмах и с портфелями, рабочие в робах, ханыги в разнокалиберном пожухлом тряпье. Обычных в подобном месте споров, смешков и словечек не было слышно. Лишь некто, уже сломленный опьянением, сидевший прямо на земле, прислонившись к боковине киоска, бормотал что-то нечленораздельное, монотонное, иногда вскрикивая, что придавало всей обстановке оттенок некой забубенной, немыслимой литургии.

У продавщицы пива я одолжился мутным, захватанным граненым стаканом, вскрыл бутылку ключом, налил доплна и, преодолевая отвращение, выпил. Примостился между ларьком и перилами набережной, среди набросанных пробок, окурков и оторванных рыбьих голов, глядевших на меня своими подвяленными глазами слепо, но осуждающе. Пятна сдутой и высохшей пены шелушились вокруг. Выбрав местечко почище, поставил бутылку на гранитную плиту набережной. К воде слетела белая чайка, что-то подхватила с поверхности и, оставив за собой слабые расходящиеся круги, улетела.

«Говорят, птицы – это воплощения чьих-то умерших душ, – думалось мне. – Может быть, эта чайка есть Александр Блок, реющий над своим оставленным домом? Ведь он жил тут где-то неподалеку... Странная мысль. Кабы знать, что я сделаюсь хотя бы и чайкой, буду, меняя галсы, сновать в кильватере какого-нибудь туристского теплохода и однажды увижу на палубе очень счастливую, кем-нибудь крупным за плечо обнимаемую Зинаиду и на звонком своем языке крикну им: „Так держать!“ Если б знать достоверно, что будет так! Как облегчило бы мне это знание предполагаемую процедуру! Ведь меня, по сути, ничто не удерживает, кроме распитой на треть бутылки. Умереть не допив – это пошло. Алкогольная общественность, болтливая и въедливо-любопытная, как и всякая, впрочем, иная, узнав об этом, меня, безусловно, осудит. Так и чудится мне телефонный звонок от „А“ к „Б“:

„Слышали новость, глубокоуважаемый? Никеша себя утопил". – „Да ну, что вы говорите? Каковы подробности?" – „Да вот, оставил на парапете недопитую бутылку, а сам..." – „Недопитую? Что ж это мог он не допить? Не представляю. Ах, портвейн «розовый»? Молдавского производства? Ну, это, конечно, не ереванский коньяк, но чтоб не допить... Нет, извините, сознавая всю горечь утраты, должен я вам сказать... Да-да, он всегда был немножко со странностями... Что вы говорите? Прекрасная мысль! Надо помянуть бедолагу. Что? Да, немного. Увы, с копейками рубль... Да-да, на углу... Нет, ей-богу, он меня удивил!..»

Вот такой приблизительно разговор представился мне, когда я глядел на оставленные чайкой расходящиеся круги. С трудом оторвав взгляд от воды, я поднял бутылку и налил себе еще.

Второй стакан, будучи выпит, возымел эффект неожиданный. Когда я докурил сигарету, взятую у кого-то из пьющих пиво соседей, и поднял голову, небо будто ножом полоснули: алые и бурые внутренности стали медленно вываливаться из его голубого брюха и оседать на печные трубы далеких крыш. Меж ними, словно прожекторные стволы, падали в разных направлениях злоеющие солнечные лучи кровавой масти. Дым от автомашин, курившийся над Поцелуевым мостом, приобрел угрюмо-багровый оттенок. Я опустил голову. «Улба-лба! – сказал я себе. – Каж-ца, каж-ца». Мостовая вдруг стала непослушной, изрытой, неровной. Поднял бутылку и, затыкая ее пробкой, огляделся воинственно – не хочет ли кто отнять. Никто, кроме вот этого... он ушел. Я посмотрел на реку. Вода уже достаточно остудилась и стала студнем.

«Невкусно!» – подумал я, и меня слегка затошнило. Я ушел от реки. Люди на улицах были угрюмые, полусонные. Иностранец снимал кино через щелку. Девушка, глядя в карманное зеркальце, мазала губы. Она шлюха. Они шлюхи – все до одной. В тени забора было холодно и полутемно, и чертовы неотвязные тополя булькали мелкой листвой. Тополя, тополя... песня. Кто-то хотел меня утопить. Ты, что ли, мастер? Да пуст мой карман, зря трудишься. Что, съел? Ну, то-то, знай наших! Надо бы еще вы... выпить. А? Бутылку уперли, падлы. Ну и город, одни ворюги...

Теперь поворот направо... Куда это я? Что-то холодно. Эк меня. Бррр. Значит, так: где я и сколько времени? Долго я путешествую. Я же шел вдоль Мойки. Вон она виднеется. Кажется, я был в трубе. Надо же – автопилот сработал. Ушел же отсюда и снова здесь. Значит, так надо.

Меня знобило. Сильно тянуло по малой нужде. Я прошелся по набережной, ища подворотню потемнее. Забрел в какой-то угрюмый двор. Примостился между кирпичной стеной и высоким бетонным основанием стальной трубы, косые распорки которой делали ее похожей на баллистическую ракету. Когда я вышел оттуда, мне в глаза бросились высокие, сумеречно освещенные окна какого-то длинного одноэтажного строения. На дверях висела табличка с крупной, плакатным пером выведенною надписью. Я подошел поближе. Сознание вернулось ко мне почти полностью, так что надпись, которую я прочитал на дверях в полутьме раннего вечера, удивила меня:

УЧАСТОК «ПАЛЕРМО»

и чуть ниже помельче:

открыто по техническим причинам

Недоуменно рассматривал я обыкновенную казенную дверь с натеками серой масляной краски. «Открыто, – подумал я. – Значит, можно войти?» Тут же за дверью раздались голоса, она приотворилась, и ко мне на булыжный двор вышли двое, оживленно переговариваясь.

– Надо увеличить давление эзотеры, – сказал тот, что повыше, снимая с локтя нарукавники.

– Подкрутить шестигранник?

– Ну ясно, что не пентакль! – ответил тот, что с нарукавниками, засовывая их в портфель, и расхохотался.

Не переставая смеяться, он внимательно и отчужденно глядел на меня, и, рассмотрев его лицо, я заметил, что нос его, необыкновенно бугристый и толстый, переходящий в густые паклянные брови, сделан из папье-маше.

– А ты что стоишь, голубчик? – вдруг подлетел он ко мне. – Видишь – открыто? Ну и ступай! – И он с неожиданной силой взял меня за руку повыше локтя и втолкнул в помещение.

Дверь за мной затворилась; я услышал, как щелкнул сработавший замок.

– О, да в нашем полку прибыло! – услышал я веселые голоса из глубины помещения. – Давай-давай, не стесняйся! Вольф, наливай! Штрафняка ему!

Я растерянно огляделся. Помещение на первый взгляд представляло собой нутро обыкновенной газовой кочегарки. Правда, котлы, стоявшие вдоль стены, не работали, но запальники – стальные длинные трубы, в которые по гибким резиновым шлангам поступал газ, – были укреплены наподобие факелов отверстиями вверх, и каждый из них венчался языком пламени. Таких языков было много, штук десять, их неровный, прыгающий свет с трудом разгонял темноту. Пахло горелым газом, пролитым вином, человеческим потом. Синий табачный дым плавал под потолком.

– Да ты ползи сюда, не менжуйся! – кричали мне из глубины помещения. – Здесь все свои, любя! В нашем учреждении сегодня сабантуй!

Я решил откликнуться на их зов. Преодолев небольшой лабиринт из чертежных досок, поставленных кое-как, вразнобой, я оказался у продолговатого бильярдного стола, на зеленом сукне которого в беспорядке валялись обломанные куски хлеба, колбасы, сыра, табачный пепел. Удивило меня то, что сыр был обгрызен как-то мелко: зияли ровные полукружья откусов – небольшие, не человечески.

– А, это ты, Никеша! – обратился ко мне восседавший как бы во главе стола, заросший до глаз густою черною бородой, совершенно незнакомый мне человек. – Наслышан, наслышан... А что, иди ко мне оформителем! Не обижу... А?

Я не нашелся что ему отвечать.

– Да что это я, – сказал бородатый, – так сразу и подступаю. Вольф, сукин ты сын! Налей гостю!

Мне поднесли граненый стакан с темной жидкостью. Где-то совсем недавно я видел такие же зазубрины на венчике стакана. Я зажмурился и, сколько мог, выпил. Излишне, может быть, говорить о том, что питье было все то же – портвейн «розовый». Да, очень крупную партию этого товара прислали в наш город из молдавских степей.

– Ну как, пошло? – спросил меня тип со старушечьим острым лицом – тот, кто мне наливал.

– Спасибо, нормально, – ответил я, преодолев легкую тошноту, и поинтересовался, по какому случаю праздник.

– О, да ничего особенного... Сороковины отмечаем... по нашему... гм... знакомцу! – осклабился остролицый. – Кстати, ты его тоже, кажется, когда-то знавал... Его зовут Дима. Ну, художник-иллюстратор, Димитрий... Уж сорок дней, как преставился...

– Что вы говорите? – весь так и вскинулся я. – Не может этого быть! Я ж его видел сегодня утром!

– Пить надо меньше! – раздался из-за спин чей-то тонкий и злобный фальцет.

Я попытался взглядом разыскать наглеца, но за кругом голов и плечей ничего, кроме пляшущих неровных теней, не увидел.

Я обратился к чернобородому.

– Скажите мне, это правда? – спросил я полным отчаянья голосом.

– Увы, мой друг, мужайся, но это факт! – ответил начальник, мясистое лицо которого выразило в эту минуту чувство оскорбленного достоинства.

– На поминки попал! – с издевкой проверещал все тот же тонкий и ненавидящий голос.

Я не нашелся что отвечать. Неожиданное и острое чувство горя охватило меня с такой силой, что я уронил голову на руки и разрыдался.

– Ну-ну, успокойся, не горюй, бедный Йорик! – опустил бородатый мне на спину свою тяжелую длань, и я, содрогаясь, ощутил позвоночником его твердые и длинные когти. – Ничего, дело житейское... Покойному попросту незачем было жить... Ну, а мы, как видишь, его с удовольствием поминаем. Чем бы тебя отвлечь? Хочешь посмотреть машинное помещение? Это, так сказать, средоточие нашей деятельности... Вольф, проводи!

Вольф как-то нехорошо усмехнулся, отчего его острое лицо стало на миг еще безобразнее, и поманил меня за собой. Вытерев мокрые щеки, я отправился следом. Он провел меня в темный угол котельной, к двери, над которой горела красная лампочка. Набрал нужный номер на замке с шифром и, толкнув дверь, ввел меня в машинное помещение. Сквозь мутное,

запыленное окошко я первым делом глянул на улицу, где синели негустые майские сумерки, и узнал бетонное основание той самой трубы со следами своего недавнего пребывания.

– Смотри! – сказал Вольф каким-то торжественно-страшным голосом.

Я посмотрел прямо перед собой. Сквозь узкое жерло печи я увидел слепящее пламя вольтовой дуги, а когда пригляделся, заметил – там, между двух угольных электродов, вьется, шипит, пузырится и истончается в дым чахлый крысиный трупик. Дым втягивался в отверстие за электродами, которое, как я понял, ведет к трубе, только что мною виденной.

Полуослепленный на мгновение, я отвернул голову от печи и спросил в ужасе и отвращении:

– Зачем это?

– Фирма «Миазм», – ответил Вольф лаконично, но глаза его горели каким-то непонятным мне торжеством. – Участок «Палермо». Снабжаем весь город.

– Уйдем обратно, – попросил я, отворачиваясь.

– Как хочешь, – ответил Вольф лаконично, – это нетрудно.

Когда мы вернулись к пирующим, я каким-то шестым, так сказать, чувством отметил, что настроение за столом изменилось. Царило тягостное молчание. Бородатый глянул на меня строго и сумрачно. Он собственноручно налил стакан до краев и, поставив передо мною, коротко бросил:

– Пей!

– Спасибо, мне, кажется, хватит...

– Пей, тебе говорят! Ишь, невежа...

– Ну, если вы настаиваете, – ответил я, машинально озираясь по сторонам, и отпил немного.

– Он слишком много знал! – раздался все тот же издевательский голос, и я, кинув взгляд в ту сторону, откуда он прозвучал, увидел пухлое безволосое личико, лишенное подбородка. Глаза, встретившись с моими, изобразили деланный ужас.

– Послушайте, что за наглость! – закричал я прямо в это мерзкое личико. – Кажется, всему есть предел! Я вас не знаю и знать не хочу!

– А ты кто такой, собственно, чтоб кричать на Валюнчика? – угрюмо спросил чернобородый.

– Как это «кто такой»? – опешил я. – Вы ж меня знаете! Сами в оформители звали, оклад предлагали...

– Ну, оклада я тебе, положим, не обещал, – насупился чернобородый. – А интересует меня, что ты за тип, что за птица, чтобы каркать на моего штатного сотрудника?

– Что за птица? – ответил я, усмехаясь. – В чайки собрался... Да вы меня, боюсь, не поймете...

– Ты, кажется, Йорик, того, в Гамлеты метишь... – угрюмо сказал бородатый.

– А хоть бы и так! – воскликнул я, возбуждаясь.

На меня напало какое-то необъяснимое вдохновение. Весь этот чадный день, сгущаясь, клубясь, наподобие пьяной тучи, разразился во мне ливнем жарких речений.

– Мечу! – воскликнул я. – Всю жизнь метил! Вы люди служащие (кто-то бросил вслед: «Вот именно!») и не поймете меня совсем. А живет, бродит среди вас популяция неприкаянных душ! Страшные видом, сильны они духом и провидящим зрением! Пусть они кажутся вам в лучшем случае чудаками, в худшем – подозрительными отщепенцами. Это потому, что видят они вещи в их истинном свете, а не в искусственном и наведенном! Да, нелегко нам живется. Душе хочется распрямиться и взлететь, а ее загружают свинцовыми чурками разных запретов, угроз, обязательств! Сколько сил уходит на то, чтобы вытеснить из души этот сор и хоть ненадолго сосредоточиться! Как надрывается в этом ежеминутном борении весь душевный состав! Вот и бежишь в гастроном покупать какой-нибудь гнусный «розовый», пьешь, чтоб забыться хоть на минуту!

Или напросишься на чужие поминки! – злорадно заметил тот, кого звали Валюнчиком, и его глаза, встретившись с моими, вновь изобразили комический ужас.

– Пусть так! Напросишься. Сушая правда – пьем на халяву! Да что – пьем. Все мы – разного рода поэты, романтики и пропойцы, не то что киряем – живем и то на халяву, за чей-то

ненужный и тяжкий счет. Примите, канючим, любезные, в вашу честную компанию. Так уж нам трезво, грустно и одиноко. И вы принимаете... чтоб надсмеяться или убить!

– Ну, это он, кажется, перегнул, – пробубнил Вольф себе под нос. – Тут вам поминки, а не судебное заседание...

– Фи, гадость какая! – воскликнул Валюнчик, деловито распаковывая пакетик бритвенных лезвий.

Он стал раздавать лезвия прямо в бумажках, обходя всех присутствующих, приговаривая:

– Это – тебе... это – тебе...

– Вот что, други! – сказал чернобородый, вставая и засучивая рукава. – Мы, кажется, ошиблись в этом субъекте. Думали, что он наш, а он... Одним словом, пора мочить, а?

И вдруг стул с треском вылетел у меня из-за спины, по потолку рванулись в мою сторону черные тени, и я был схвачен десятком рук и опрокинут, так что лопатки мои воткнулись в твердый бетонный пол. Я тяжело дышал, силясь вырваться. Тут, не выпуская меня, клубок разомкнулся, и я увидел, как торжественным аллюром, с бритвой в руке, ко мне вышагивает гладколицый. Он подмигнул мне заговорщически и кивнул чернобородому. Тот, своею сильною дланью схватив меня за подбородок, еще сильнее задрал его, и мое сердце затрепетало вместе с огнями газовых факелов, вставших перед меркнущими глазами.

Чудовищным усилием вырвал я ноги из чьих-то лап и пнул прямо в живот Валюнчику. Тот отлетел с тонким писком. Вдруг входная дверь затрещала, по потолку побежали сполохи от внезапного сквозняка, и я почувствовал, что свободен.

– Атас, братва! Шухер! – крикнул чей-то высокий и сиплый голос, точно петел пропел.

Я вскочил на ноги. В помещение парами, ровно и монолитно, раздвигая путаницу чертежных досок, вливались черные гибеллины. Порскнули по углам рваные тени недавних моих собутыльников.

– Ваши документы! – сказал, подойдя, их предводитель.

– Нет у меня никаких документов! – с сердцем ответил я, отряхиваясь и потирая ушибленные места.

– Что ж. Тогда пройдемте.

Предводитель накинуд на свою литую бронзовую голову пепельного цвета капюшон, козырнул мне и показал в сторону выхода. Я шел впереди, они вслед за мною. Выйдя из двери первым, я вдруг быстро захлопнул ее (щелкнул сработавший замок) и бросился наутек...

Преследуемый страхом, бежал я вдоль набережной Мойки, огибая провалы перед подвальными окнами, но меня, как ни странно, никто не преследовал, как будто наваждение осталось там, за дверью котельной... Я пересек Поцелуев мост и пустился вдоль густых тополей дальше, мимо Новой Голландии. Наконец я остановился и перевел дыхание. На фоне неба тускло горели фонари. Я обернул лицо к старым пеньковым складам, и острое восхищение проникло в мою душу. Поднося к моему разгоряченному лицу ломтик тающего пространства, поражая редким совершенством пропорций, с которым были укомплектованы сочетания темных тяжелых масс, ее составляющих, к моим глазам подступила вечная и прекрасная арка. Я долго глядел на нее в знак прощания, стараясь навсегда отпечатать в душе образ предельной и пламенной земной красоты. «Здесь! – думалось мне. – Тут-то я с вами и попрощаюсь». Я напоследок взглянул вдоль набережной. Навсегда запомнились мне ломтики сухого собачьего помета под фонарем, блестящие, как темный металл, толстые корявые кряжи тополиных стволов. Я стал быстро срывать с себя не нужную больше одежду. «Кончено! – думалось мне. – Пусть это будет страшный, но и последний грех мой». И вдруг...

Из темной подворотни выбежала девочка лет тринадцати. Ее преследовали мужчина и женщина, тучные, с трудом переваливающиеся на своих толстых лапах.

– Ненавижу! – крикнула девочка. И, птицей взлетев на гранитную стойку перил, бросилась в воду.

– Помогите! – крикнул мужчина неожиданно мелодическим тенором, подбегая к перилам и свешиваясь в сторону воды, но прыгнуть вслед не решаясь.

Девочка, видимо, обо что-то там трахнулась под водой, потому что она долго не всплывала, а когда всплыла, то двигалась вяло и бессознательно, снова медленно погружаясь. Я бросился вслед за ней, но с таким расчетом, чтоб упасть в воду как можно дальше от берега,

туда, где поглубже. Вынырнул я благополучно, ощущая на своем лице и губах легкую аммиачную вонь. Кусок девочкиного платья еще колыхался над водой. Я подплыл к ней и обхватил рукою ее бесчувственное тонкое тело. Плыть обратно, загребая одной рукой, было очень трудно. Я держал к далекому спуску. Наконец мы приблизились. Здесь, на спуске, собралась уже маленькая толпа. Особенно разорялась бежавшая вслед за девочкой пара: дебелие мужчина и женщина что-то кричали, размахивая руками. Как только мы подплыли, девочку вырвали из моих рук, а меня, уже вторично за вечер, схватили многочисленные цепкие пальцы.

– Ах ты дурочка! – слышал я чей-то толстый плачущий голос.

– Меня-то пустите! – закричал я. – Я не хочу к вам обратно, будьте вы прокляты!

– Да помогите же, видите, человек не в себе! – вибрировал над моим ухом чей-то мощный убедительный бас.

– А пошли вы все на...! – крикнул я, отбиваясь.

Но тут силы оставили меня, и я стал тихо терять сознание. Последнее, что я увидел, были стройные гармонические массивы старинной арки, восходящие надо мною в светлеющем небе майской прекрасной ночи...

Впрочем, сознание иногда ко мне возвращалось. Меня куда-то несли, где-то клали. Кто-то подходил ко мне и брал за руку. В голове работал какой-то зуммер, так что речей я не различал. Единственная фраза, которую я услышал перед тем, как погрузиться в небытие, была произнесена деловым, будничным тоном.

– Делириум тременс! – сказал мужчина, одетый в белое. – Запишите, Марья Васильевна...

Вот уже месяц, как я нахожусь в больнице. Я все-таки достиг устья Мойки: психушка, куда меня поместили, находится на пересечении ее с рекой Пряжкой, при самом впадении в расширяющуюся горловину Невы, которая здесь не Нева уже, собственно, а Финский залив, море... Нет, не подумайте, с головой у меня все в порядке – отделение наркологическое. Лечат меня принудительно от любви к алкогольным напиткам.

Чувствую я себя хорошо, спокойно так. Ну, да оно и понятно – ведь и лекарства там всякие, само собой, как сказать, ну, то есть да – успокаивающие душу...

Один раз только я поволновался – когда Зина перестала ко мне сюда приходить. Появилась она надо мной, как только я оклемался, что было совсем не сразу. Я ей обрадовался – она хорошая девушка, добрая, милая... да... А тут вдруг пропала и перестала совсем приходить. Я как-то томился, места себе не находил, что называется, даже, верите ли, плакал в подушку... А потом, по прошествии двух недель приблизительно, снова она пришла. Оказалось, был у ней приступ какой-то женской болезни: врачи ей сказали, что она не сможет родить. Я ее, как мог, успокаивал; ели мы вишни, принесенные ею с базара, сидя рядом на казенном моем шерстяном одеяле...

Диминой матери я звонил из больницы: он умер несколькими неделями ранее – попал, что ли, под машину по пьянке. Больше ничего ни о ком не слышал, да и немудрено – город большой, всякое может в нем затеряться...

Самое мое любимое сейчас занятие – глядеть из окна. Под окном растут больничные тополя; листья деревьев уже стали летними – налились, потемнели, покрылись глянцем. Но и сквозь них видны какие-то пакгаузы, трубы, сараи, краны... И между ними – маленький кусочек восходящего, горе отлетающего пространства – то белого, то голубого, поблескивающего, несмотря на свою малость, тысячью искр при дневном сильном солнце. Это – море. Глядеть на него – и радость, и мука, ибо чудится там, за далью, какая-то светлая, неземная отчизна... Как бы попасть туда, в этот счастливый край?

1980

СЕРГЕЙ КОРОВИН

Бумеранг

С того момента, когда Канительников снова пришел в этот подвал, сел на деревянную лавку и официант сказал ему: здорово, мол, и так далее и поставил перед ним первую кружку, он так ни разу и не поднял глаза, не притронулся к пиву, не пошевелился – прислушивался: не оплетают ли его, как прежде, душистый хмель и синий мох, не покрываются ли плесенью волокна одежды, не заползают ли под кожу проворные корневища в поисках питательных веществ? Но никакого движения не обнаружилось. А вокруг пили и смеялись праздные инженеры и техники, пехотные капитаны и прочие, – им дела не было до какого-то доходяги, который, судя по всему, развязал свой носовой платок с медяками, чтобы обмочить жидкие усы.

– Видишь, на кого я похож? – обратился он наконец к своей кружке. – Что же делать мне такому? Ну, чего ты молчишь?

– Пиво пить, – ласково ответила мудрая вещь.

Канительников послушно принял. И с первым же глотком в узилище, где томилась канительниковская душа, как рембрантовская Даная, проник Джон Ячменное Зерно. Он пролился, как золотой дождь, смешался с нею, наполнил, превратил пустынные барханы в весенний оазис с райскими птицами.

Пока его душа предавалась плотским утехам, Канительников прислушивался и гадал, кто ж это попискивает у него в животе от восторга, кто это там такой повторяет: «Ах, Джонни, Джонни, зернышко ты мое, что ты со мной делаешь? Ах, как хорошо, ох, как хорошо!» Канительников, который относил себя к материалистам, который всегда полагал, что у него в середине нет ничего, кроме штатных, положенных внутренностей, собственного дерьма и сомнительной крови, очень удивился, потому что вдруг ощутил себя сыном природы, ее любимым ребенком, одушевленным звеном в единстве полезных насекомых и целебных растений – необходимой частицей круговорота воды и мысли.

– Что ж это за скотская такая жизнь, – вознегодовал его разум, просветленный движениями души, – что ж это за скотская такая жизнь, когда, только выпивши, чувствуешь себя человеком?

Но тем не менее у Канительникова слезы навернулись, когда новая волна блаженства просто растерзала на части клубочек Господнего дыхания на его прыгающей диафрагме. Он слышал их счастливое шуршание:

– Хау ду ю файнд ми? – спросил Джон свою возлюбленную, явно напрашиваясь на комплимент.

Ах, боже мой, он еще спрашивает! Разве ты не видишь? Да мне никогда не было так хорошо, чтоб ты знал! Никогда, ни с кем! – торопливо ответила душа Канительникова, совершенно уверенная в искренности своего признания. Ей припомнились гадкие водочные отрывки, истеричные приставания слабоумного вермута, педерастические попелуйчики шампанского, животные выходки нахрапистых усатых коньяков, ежедневные побои грубого невоспитанного портвейна. А спирт? Это же вообще – страшно вспомнить – бандит, гангстер какой-то, маньяк, вурдалак! Вот уж подонок так подонок!

Сердце ее сжалось, и она всплакнула на веснушчатом плече молодого шотландца: «Боже мой, до чего мне с тобой хорошо. Ты даже представить себе не можешь», – лепетала она сквозь слезы.

– Уотс зе мэта? Уот хэпенд? Уот эбаут? – всполошился Джон и бросился ее успокаивать – вытирать слезки, целовать щечки. – Бат доунт!

– Никогда, ни с кем... – горячо шептала душа Канительникова в его рыжие патлы. – Ах, это такие подонки, такие сволочи! Боже мой...

Джон Ячменное Зерно почувствовал себя смущенным, польщенным и в благодарность за признание его неоспоримых мужских и человеческих достоинств готов был немедленно выслушать все самые женские откровения, самые разрушительные сокровения даже из тех, две унции которых достаточно, чтобы пустить ко дну Шестой американский флот, – две унции!

– Тел ми, – взмолился тот, кому не терпелось совершить очередной подвиг во имя любви. – Тел ми... Уай ду ю край ит уил би О.К. (Что в переводе на человеческий означало:

мол, не надо ничего выдумывать, и все будет О.К.)

– Конечно пройдет, мой милый, забудется, это такое фуфло.

– Уот даз ит ми: па-дон-ки?

– Подонки? Да черт с ними. – Она вдруг вздохнула и улыбнулась: – Как же без них? Они тоже нужны: на их фоне мы – сущие ангелы. Не горюй, – сказала душа Канительникова своему новому возлюбленному, совершенно онемевшему от отчаяния, подавленному внезапно появившимся в интимной атмосфере будуара нечеловеческим запахом ее бессмертия, от которого гаснут папиросы и мужчины не могут делать девушкам приятные сюрпризы – у них пропадает дар речи. – Не горюй. Зато мы с тобой теперь никогда не расстанемся.

– Тел ми, – наконец проговорил рыжий, – тел ми е тру сгори.

– Уэл, – ответила душа Канительникова, – мне от тебя нечего скрывать. Это было совсем недавно.

Совсем недавно, каких-нибудь лет пять назад, когда Канительников еще умел читать и писать, он даже не догадывался, что у него есть душа. Виной тому, возможно, было его незаурядное тело, возможно, большая голова, полная дерзкого тщеславия, а может быть, голубые погоны десантного ефрейтора, которые он так все и не мог оторвать с плеча, хотя священный долг родине отдал сполна еще до начала эпохи Великого Подорожания. Он так и остался в чем-то ефрейтором. А для чего ефрейтору душа, когда у него есть нашивки, тонко шутят солдаты. Кстати, это мать, Вера Ивановна, устроила сыну протекцию по военному ведомству: упростила знакомого военкома пристроить мальчика поближе к небесам, а так бы он гнил в стройбате. Она сама остригла сына перед призывом и снабдила его командирскими часами, да и вообще всячески развивала в нем дух патриотизма. Например, всякую свою заботу о нуждах – посылки с конфетами и папиросами в далекий гарнизон – Вера Ивановна снабжала крылатыми выражениями типа: «В атаке граната заместо брата», «Гляди в оба, да не разбей лоба». Она мечтала увидеть своего сына космонавтом, это же так романтично: почет по телевизору, портрет в музее, уважение начальства и сослуживцев, безоблачная бесконечная старость в оренбургском пуховом платке на большой казенной даче. «Только ты никому не проболтайся, – поучала она сына, – народ-то какой завистливый».

Но однажды он все-таки проговорился, правда, это было еще на военной службе, когда в ночь на Новый год в казармы явился сам подполковник Шульц и поднял по тревоге личный состав, чтобы поздравить и пожелать всего хорошего сотне молодцов в бязевых подштанниках, застывших по стойке смирно. Выслушав в ответ троекратный ответ, командир обратил внимание на некоего гвардейца, который, не будучи в состоянии своевременно занять свое место в строю, маялся за строем между верхним и нижним ярусом коек, пытаясь нащупать опору нетрезвой ногой. «Фамилия и знание?» – грозно осведомился он у дежурного, и ему тут же было доложено. Папа Шульц слыл командиром душевным и, прежде чем объявить взыскание, любил поговорить с нарушителем дисциплины по душам. «Вот кем, кем ты вырастешь, ефрейтор, если не можешь выразить свою радость по уставу криком „Ура“?» – осведомился он прямо перед строем. Канительников, не моргнув, потому что у него глаза оставались закрытыми, храбро ответил: «Ко-осмона-ав-том» – и упал, как застреленный, и, когда проснулся на губе, понял, что по дороге к звездам ему придется идти в статском платье. Кстати, в посылке со «Столичной», присланной маменькой, имелась открыточка: «Где русский конник, там враг – покойник».

Но и на факультетах его ожидало фиаско. Когда Канительников один-единственный из всего астрономического курса сдал на пять матанализ самому профессору Нахимсону, тот спросил его, подписывая зачетку, кем, мол, прекрасный юноша, так хорошо знающий предмет, хочет быть в этой жизни? Канительников покраснел, но промолчал. «А-а-а... – протянул профессор, закрывая синюю книжечку, – стало быть, пер аспера ад астра? Прекрасно, прекрасно. У вас там, наверно, есть родственники». Тут Канительников почему-то сразу сообразил, что ему не удастся развить даже первую космическую скорость, а придется до конца дней сидеть в учреждениях по восемь часов и в лучшем случае считать скорости и орбиты для

тех, у кого «там родственники», или для военно-баллистических ракет. Кроме того, сколько он там ни сиди, досиди хоть до замначальника, водка и прочее не подешевеют – ракет-то на нужды коммунизма нужно все больше! – а чем еще служащему с убогим жалованьем утолить печали, в чем утопить горечь крушения юношеских грез? Мало того, Канительникова охватила паника, когда он представил, что его глубокие знания, точная интуиция и светлый ум будут однажды приложены к тому, что подорожают и папиросы! Были уже такие разговоры, и люди лихорадочно набивали тумбочки и портсигары, чтобы умереть с дешевой «беломориной» в зубах. Канительников поглядел в телескоп на небо и увидел гаснущую звезду своей жизни.

«Нет, я не стану врагом миллионам братьев», – сказал он, сдавая обратно в библиотеку сочинения Коперника и Галилея. У него на зубах закрипел прах его республиканского дедушки, которого разорвали в клочки неграмотные тверские крестьяне, когда он им устроил обобществление имущества.

А всему виной дедушкина бурная молодость. В сиреневом мундире Политехнического он кричал дерзкие слова с газовых фонарей в проезжающие экипажи; водил кузину глядеть на ненормального в желтой блузе; кушал в кондитерской Максимова на Среднем профитроли и мечтал лишь о благосклонности Пентеселеи снежной петербургской сцены, которая слыла неразборчивой в сексуальных связях, или, как тогда говорили, страдала половой неводержанностью. От одного этого слова сладкая и влажная дрожь одевала его в кольчугу из пупырышек, отчего даже циничных девочек в маленьких гостиницах на Лиговке он умолял кричать: «О, жажду!» И рыдал от сознания того, что его сиреневый мундирчик не составит конкуренции брюсовским сюртукам, имущим власть и славу в отжившем мире, ни при каких обстоятельствах. Дедушка рыдал и бросал ей розы, и так продолжалось, пока не поползли по нашей Северной столице невообразимые слухи. Тогда он воспрял духом, пришел к своему дяде – вождю республиканцев Балтийского экипажа – мичману, которого прежде и знать не хотел за то, что тот не ходил в театр на Офицерскую, не обожал «вечную женственность», пришел и выпросил себе ничейный браунинг с восьмью смертельными пулями. Так он, попросту говоря, влип: ему виделось, как он приставит эту вещь к голове императора – порфиринозного тирана сиреневых мундирчиков.

Ах, если бы доктор Фрейд начинал свою практику не в Вене, а в Петербурге и был бы не Фрейдом, а Фрейдерманом с Большой Морской, дедушка не стал бы вакхической жертвой тверских землеробов, не оценивших идеи обобщественного труда и распределения поровну. Ведь ничего он не знал о том, как, умирая от проказы в далеком знойном Туркестане, путаясь в разорванных кружевах горячечных воспоминаний, Вера Федоровна не могла увернуться от мокрого букета пудовых роз, любовно пущенного ей в лицо сиреневым пятном из жаркой ямы партера. «О, жажду... уберите розы...» – были ее последние слова.

Да, весь мир – театр: там или бросают пудовые розы, или уворачиваются от них. Дедушка выбрал первое, но, по странной иронии судьбы, они ударили его в затылок, и пусть это был выстрел из винта – не имеет значения.

– Червь порока и червь сомнения точили его, – заключил срочно вызванный на место происшедшего дядя-мичман и сгреб рукавом в коробку от шоколада «Миньон» прах племянника, а часть недогоревшего кистевого сустава с пороховой синью татуировки «Вера» и браунинг с восьмью смертельными пулями влились в вечный круговорот природы на реке Медведице близ города Лихославль, где осталась вдовой бывшая курсистка с Десятой линии, которая когда-то шептала: «О, жажду!», и крохотный мальчик-сирота, который теперь плакал: «Хочу кушать!»

Голодно было, хорошо, что дядя помог.

– У, ты меня совсем не любишь, – сказала вдруг душа Канительникова своему возлюбленному, устремившему взоры в неведомые дали российской истории.

– Ай лав ю, ай лав ю, – поспешно отозвался Джон. – Ай бэг е падн, айэм лысн ты ю.

– Любишь? А почему не целуешь?

Гот дэмент, подумал влюбленный иностранец, как я недооценивал женщин!

– Да! Да! – воскликнул он. – Навсегда! Никогда!

– Никогда! – подхватила душа Канительникова. – Ты, главное, – целуй. Мне в этом мире больше ничего не надо. Немного... – Тут она осеклась и пропела тра-ля-ля, опустив слова,

которые могли вызвать тень пустой ревности. – Немного солнечного мая!

Так вот, это было еще до того, как мы узнали слово «уотергейт». Нас тогда занимала судьба совсем другого президента, который сам не покинул дворец и лично отстаивал свой кабинет с автоматом Калашникова в руках. Он был убит, как гладиатор. И хотя это, казалось бы, его, Канительникова, не касалось, он принял все случившееся почему-то на свой счет. Он стал чуть не каждый день ходить к бабушке, вроде бы на обед, а сам все подбирался к старой жестянке от шоколада «Миньон», чудом пережившей перипетии вражеской блокады и конфискации имущества. Канительников уже все понял: «Язык! – твердил он. – Язык! Со звездами нельзя говорить, как с бабой!», и, когда все-таки изловчился открыть жестянку, бабушка, которая тогда уже не знала ни читать, ни писать, ни телевизор смотреть (будто и не было у нее бестужевского курса), а только помнила: варить грибной суп, тихо рассмеялась: «Сереженька, там нет ничего», глядя на внука сквозь линзы времен в примитивной оправе – страшная, как сон, как грибной суп.

«Дурак ты, дедушка! – крикнул Канительников в жестянку и, подумав, добавил: – Но я поставлю, воздвигну тебе памятник! Спросишь: почему? Изволь: да потому что ты лишился формы, а, как говорил в учебке сержант Бунеев, человек без формы, форменный нуль, даже если он – покойник».

С этого дня он только пил и долбил гигантский ясень, отравленный мочой у ограды Таврического сада, прямо напротив занюханной пивной, долбил ночами, не отрывая глаз от гаснущей звезды своей жизни, непоправимо катящейся за Охту по направлению к Центральному государственному крематорию имени Джордано Бруно. Звезда дрожала от ударов стамески по вонючему полену, которому он затеял придать черты республиканского дедушки, – дедушка представлялся ему с букетом деревянных роз. И когда его звезда зацепилась в небе Северной столицы за какую-то проволоку и повисла, виновато моргая, на тяжелом поясе осеннего Ориона – крохотная булавоочная головка, почти невидимая в окружении багровых гигантов и ослепительных карликов, – Канительников бросил стамеску и отбежал, чтобы увидеть изваяние во всей красе и величии.

– Экого ты фараона вылепил, – услышал он за спиной знакомый голос, оглянулся и увидел шикарного господина Бураго: тот восхищенно разводил руками. – Колоссально, и волына как настоящая! А чего он у тебя на медведя смахивает? Колоссально!

Канительников не знал, что и делать: Бураго! Кто из художников в Питере не знает Бураго и его желтые сапоги! Кто? Ну, а кто вам достанет настоящий акрил? Кто вам степлер подарит? Кто вам, наконец, приведет в мансарду фирму? Кто? Бураго! Бураго – скиталец, пилигрим, ученик Шемякина, любимец Кастакиса!

– Потрясающий медведь! – кричал Бураго. – Это – пиздец! «Медведь с розами» – вот она загадочная русская душа! Они у меня визжать будут! Ну, ты – дизайнер! Всех повалил! Нет, каков подлец! А я-то думаю, кто тут по ночам колотится, как дятел?

Канительников не решился ему открыться, что строил дедушку, но Бураго будто мысли читал:

– А ты думаешь, я не знаю, чего ты затеял? Хотел ведь небось сбачать что-нибудь этакое? Но ты не смог с собой ничего поделывать – потащило, да? Старик, ты сам не знаешь, что сделал: это выход из беспредметности – баланс на грани узнавания: то самое и «да», и «нет»! Обджект дэ арт! Ха-ха! Мы на нем такую капусту снимем... Ты только больше его не трогай, а я принесу – у меня только для тебя есть – колоссальный лак. Это – две минуты! Как мраморный будет!

Действительно, все кончилось в две минуты с того самого мгновения, когда подпиленный дедушка ухнул, как кедр ливанский, в сухие прошлогодние окурки, а Бураго прыгал и хлопал Канительникова по спине: «Тотем! Это твой тотем! Это наш тотем! Бабки срубили!» Железная рука экскаватора подхватила изваяние и легко переместила через улицу прямо ко входу в пивной подвал, куда его мигом сволокли какие-то расторопные монтеры.

– Понимаешь, с фирмой не вышло. Не вывезти, в самолет не лезет. Но я его этим пристроил. Тут, понимаешь, только идеи не хватало, чтобы поднять престиж заведения. Раньше была просто забегаловка, а теперь – врубись – «Медведь»! Айда ко мне! Ты знаешь, что такое «Капитан Морган»? Это тебе, старик, не какое-то сраное пиво!

Канительников тогда еще ничего не понял, а только почувствовал, что произошло именно

то, чего было не миновать его дедушке в лихие времена, что и он запустил свой смертельный бумеранг под низким небом Северной столицы, что теперь только остается ждать, когда эта штука вернется и разрушит ему затылок.

А когда наконец все понял, день на пятый, то встрепнулся, раздвинул мизинцами незнакомых прелестных ветрениц, сжимавших его в объятиях робкой страсти, стал вертикально среди сумрака и хлама, как монумент павшему герою долговременной осады, как стамеска, шагнул через грудь Бураго, который просто вытекал из своих новых лакированных сапог, давился, захлебывался злорадством: «Кончай базар, дизайнер! Сруби лучше мне теперь бабу с топором. Будет „Родина-мать"! Я уже договорился... А туда не ходи, там тебя эти марамой зарежут! Ха-ха-ха! Они тебя четвертуют!» Канительникову даже показалось, что там, за желтым голенищем, поднимает змеиную голову золотой нож.

Ветреницы умоляли его остаться, не покидать их, не оставлять их разбитые сердца в лохмотьях постылой девственности и прикрывали наготу школьными фартуками, но он выскочил за дверь и побежал к Таврическому саду, чтобы глянуть в лицо не знающим пощады потомкам тверских землеробов до того, как они выпустят ему внутренности. Он боялся не их, он трепетал при мысли, что уже по дороге ему грянут на голову с карнизов крепкие кирпичи или алебастровые ундины, – так древний ужас, всосанный им еще с молоком матери, терзал его искалеченное воображение, словно пьяный рыболов ржавым крючком бессловесного дождевого червя. Одежда его была в беспорядке. А Бураго все хватал за лодыжки прелестных ветрениц, которые трепыхались, как рыбки, надевая чулочки. «Куда, куда вы, бестолковые мочалки? – хохотал он, стуча сапогами. – Надо же, нашли себе идеал современника! Куда вы? Да его уже повесили за яйца! Аха-ха! Давайте ляжем, пока мне тоже что-нибудь не оторвали! Аха-ха-ха-ха! Ведь это же я продал в тот шалман этого фараона, что б он провалился! Ну, куда вас несет? Эх, девочки, девочки. Дуры вонючие, девочки...»

А Канительников добежал, кое-как прочитал новую вывеску, икнул, огляделся и ужаснулся: привычной очереди не было. Тогда вошел и сел на деревянную лавку под самого медведя, и официант сказал ему здорово, мол, и так далее – совсем как теперь. Канительников достал и бросил халдею все деньги, которые он вытряхнул из прижимистого Бураго, бросил без сожаления, хотя собирался разместить куда более выгодно – например, купить наконец матери оренбургский пуховый платок. Ей давно хотелось завести такую замечательную вещь, она об этом то и дело подыхала за вдовьим пасьянсом так, чтобы слышал ее сын, будущий космонавт, последняя ее надежда и драгоценность, и утешение в грядущей старости – так говорила она своим приятельницам. А сама втайне мечтала о том, как пойдет в такой платке мимо военкомата, а тот военком увидит, высунется и скажет, мол, ах, какая вы, Вера Ивановна, и тому подобное, и сделает ей конструктивное предложение. Ведь она уже пять лет как рассталась с последним супругом, проявившим излишнюю меркантильность на фоне ее привязанности к яркой жизни, – и вся память о нем. Предыдущие же и этого не оставили, за исключением папаши Канительникова, который приучил ее, типичную фабричную девчонку, к обкомовским удовольствиям типа: днем носить крепдешин, вечером – панбархат, а завтракать в изумрудных кимоно с золотыми драконами и чайными розами. Но и он начисто выпал из памяти еще в сорок девятом году: уехал на службу в «Победе», а вернулась только «Победа». Впрочем, кто об этом помнит, какая кому разница: вернулась – не вернулась? Кого гнетет чужое горе? Вот потому не грусть по прошлому, а тоска по настоящему терзали ей сердце.

Канительников приказал открыть для всех море пива, напустить туда копченых ставрид и скумбрий, устроить соломки для утопающих, отправить в стихию пенных волн синие корабли папиросных коробок.

– Пусть все сожрут, чтобы ни одна гнида не могла сказать, что Канительников продался, объяснил он официанту и кивнул на медведя.

– Как прикажешь, дизайнер, – невозмутимо ответил ему работник общепита.

И сразу же душистый хмель и синий мох стали потихоньку оплетать Канительникова, опутывать ступни и икры, впитывать испарения влажного тела. И он как-то забалдел от собственного размаха, попросту говоря, размяк...

Потом, на протяжении многих лет, все посещали этот подвал, где когда-то сидел за столом Канительников, где поднялся во весь рост, где упал сраженный. И все видели стеклянные кружки, опаленные его чудовищным огнем, измеряли роковую черту и стояли над ней безмолвные, подавленные, не в силах глядеть медведю в деревянные глаза, и ничего не могли понять. А две какие-то барышни заявили однажды ни свет ни заря и, отталкивая друг друга нервными локтями, так прямо и спросили телефон того мужчины, который был с ними «там», а потом скрылся в этом подвале, оставив их сердца в лохмотьях постылой девственности. «Его уже нет с нами, – ответил им тот самый официант, – увы». Но они сказали, что будут его ждать, и заказали по кружке. А дети в окрестных дворах до сих пор, играя в Канительникова, калечат надоедливых бабушек и младших сестер убийственными словами, умерщвляют животных дикими криками, не учат уроков, не выполняют домашних поручений так, что никто не знает: в кого они и что из них в конце концов выйдет, – просто беда.

И никто не может сказать, куда пропало тело Канительникова, не может указать его могилу, правда, один бывший мичман, седой ветеран Цусимы, пробавляющийся ништяками по многим забегаловкам, если наливали ему, уверял, что Канительников жив. Будто бы знаменитый доктор Шустин-младший своими гениальными руками склеил у себя в больнице Канительникову новые мозги из того винегрета, который доставили вместе с телом в пивной кружке. Доктор заново выучил страдальца ходить, говорить и выпивать, он выучил бы его читать и писать, но в один прекрасный день Канительникова отчислили из стационара за то, что он принялся пугать медперсонал изменившимся голосом. «Гуляй, студент, – посоветовал знаменитый доктор ему на прощанье. – Из доброго вина не выйдет худой латыни». Тогда, уверял мичман, Канительников дал обет молчания и ушел на Великий океан искать непутевую звезду своей жизни, стремительно туда закатившуюся, а когда найдет и придет обратно, то настанет Страшный суд. Конечно, ему никто не верил, потому что он еще утверждал, что придет пора, когда крейсер «Варяг» восстанет из пучины, всплывет прямо у Николаевского моста и тогда тоже грянет Страшный суд. К тому же все видели трижды пораженного Канительникова, вложили персты в его раны и могли свидетельствовать, что каждая из них смертельна.

Правда, никто не может точно сказать, как все вышло, в тот день. Канительников тогда так глубоко погрузился в душистый хмель и синий мох, что не мог шевельнуть и пальцем на ноге, а вокруг пили и смеялись праздные инженеры и техники, пехотные капитаны и прочие студенты шоферских курсов. «Дизайнеру – ура!» – кричали они нестройным хором, подходили по одному, хлопали по плечам в припадочном обожании селедочными руками и клялись, что им совершенно наплевать, подорожало это сраное пиво или что, ведь главное, чтобы оно было в ассортименте, а война – нет. «Не наше дело – рюмки делать, наше дело – водку пить», – шутили они, но Канительников чувствовал только, что если он сейчас же не встанет, то душистый хмель и синий мох превратят его, легконогого зверя, в мясную тушу, из которой можно приготовить тысячу вкусных блюд, и он уже не сможет смотреть в самое лицо своей гибели.

Тогда Канительников начал вытаскивать себя из растительного месива, тащить со стонами и треском, как червивый зуб из раздутой челюсти, обливаясь потом и слезами ярости. А когда наконец стронулся с места, рванул руками во все стороны, отчего все полетело к чертовой матери.

«Не верьте, если вам скажут, что вы – не скоты и не грязные подонки! – закричал он не своим голосом. – Это вы убили моего дедушку и прах его развеяли, потому что знали, что он будет стучать в мое сердце! Дедушка, смотри, как это надо было делать! Ну, крысы, идите сюда! Я раздавлю каждого, кто переступит вот эту черту, – и он провел на столе кривую линию. – Я убью любого, я-а-а-а...» – Он видно хотел еще много чего сказать, но у него вылетели вон голосовые связки, и все слова произнеслись разом – получился долгий звериный рев, от которого стали плавиться кружки, взрываться спичечные коробки. И чем бы все это кончилось – неизвестно, только вдруг за спиной Канительникова возник какой-то мужчина – откуда он выскочил? – чужой, его тут сроду никто не видел, – ударил несколько раз дизайнера по голове и выбежал вон. Сколько потом было разговоров, но даже тогда, когда Канительников лежал у них в ногах в крови и судорогах, даже над ним все говорили разное. Одни – что тот

ударил его бутылкой, другие – что кирпичом, третьи – что топором, – ничего не разберешь, но все сходились в одном: что тот ударил дизайнера первым. Потом пошел слух, что никакого мужчины вообще не было, а у Канительникова попросту взорвался затылок от перенапряжения мозга, мало того, говорят, что такой же случай был с курсантом в «Петрополе». Говорили, говорили, – все равно никто толком ничего не знает, не понимает, а тут еще этот цусимский ветеран упорно твердит, что видел золотой нож, но ему, конечно, никто не верит.

– Ах, милый, я тебя, наверно, совсем замучила своей болтовней, – сказала душа Канительникова. – Сама не знаю, что на меня нашло: говорю, говорю. Но ты не сердись, мне было так тяжело, а вот порассказала, и камень с души, я как родилась заново – так мне хорошо тобой. Ну, иди ко мне, я совсем озябла.

– Ай кант ду ит, – ответил Джон Ячменное Зерно, встал и надел штаны.

– Что случилось? – удивилась она. – Куда ты собрался, у тебя дела?

– Ноу, ай ливю форэва, э... на-фсек-та.

– Как? – подскочила она, будто кто-то позвонил у дверей строгий и неуместный. – Как? Ты не возьмешь меня с собой?

– Ноу, ай кант ду ит, – повторил он, вытряхнул из карманов ей в руки сигареты, зажигалку, ручку, сунул обратно только записную книжку и пошел.

– Подожди, я ничего не понимаю! Я тебя чем-нибудь обидела, любимый? – И она горько заплакала, потому что увидела, что он не шутит. – Ну почему? Почему?

– Потому что мне не нужно твое вранье, – медленно проговорил Джон Ячменное Зерно и вышел через черный ход, стараясь на нее не глядеть.

Канительников слышал, как душа рыдает у него в середине, и обнаружил, что случилась трагедия – почувствовал всем своим существом, зарастающим мхом и ползучими растениями, своей увечной головой, где болталась одна-одинешенька, неведомым образом туда попавшая, совершенно идиотская мысль: «Какую все-таки большую нагрузку испытывает при трогании с места крестовина карданного вала троллейбуса!»

Видение обрушилось на Канительникова – то самое, которое преследовало его все время, когда он гонялся за гаснущей звездой своей жизни по дикой и снежной пустыне отечества – бичевал на космодроме, ловил камбалу на Сахалине, воровал водку в порту Находки, сидел по статьям, но не запомнил каким, потому что уже не умел читать. А маменька его все не оставляла надежд на оренбургский пуховый платок, но Канительников даже не мог ее разочаровать, потому что не умел писать. Кстати, по этой причине он так и не узнал, что бабушка померла, что не есть ему больше грибного супчика. Так вот, и все эти годы его преследовало одно кошмарное видение.

Вот и сейчас явилась ему эта знакомая колоссальная молекула этилового спирта, которая раскаленным шприцом вытягивала из него воду. Страшно, конечно, но привычно. Только на этот раз он слышал незнакомый голос, приказывающий ему, совсем как в каком-то стихотворении: «Оглянись вперед!» Канительников повиновался и увидел багровую звезду во все небо. «Оглянись назад!» Он оглянулся и увидел белую звезду и тогда понял, что это уже не пытка, а казнь, что это – ад.

Но поначалу этого никто не заметил, только две какие-то увядающие барышни, из тех, без которых не обходится ни одно мужское собрание, вытаращили глаза, когда увидели, что от какого-то доходяги, молча сидевшего в темном углу под медведем, неожиданно отделилась бледная заплаканная особа и быстрыми шагами направилась на улицу.

– Во дает! – весело переглянулись они. – Хоть бы оделась!

1979

Волшебная страна

Дорогие друзья!

«Волшебная страна» – небольшая, но хорошая книга. О чем она – легко понять, прочитав первую страницу. Могу лишь добавить, что это очень грустная и, я бы даже сказал, нежная книга. Несмотря на то, что рассказанные в ней истории иногда могут вызвать улыбку у человека, относящегося к жизни с симпатией.

Все рассказанное – истинная правда, без капли вымысла. И не случайно я старательно избегал художественности, но чтобы усилить достоверность повествования.

Эта книга – не записные книжки, не сборник анекдотов. Может быть, мемуары? Наверное, это мемуары.

И еще. Пока я писал, у меня возникло чувство какого-то морального долга перед нашей компанией. В основном потому, что мы окончательно расстались с молодостью и наша жизнь изменилась, а главное, потому, что за несколько коротких лет нас стало гораздо меньше.

«Нас мало. Нас, может быть, трое...» Ну, нас, может быть, шестеро или семеро. Кое-кто все-таки пока жив. Но и время еще не прекратило свое течение. Кто знает, что случится на будущей неделе, завтра, сегодня после обеда? Таким образом, эта книга и дань памяти тем, кого нет, как ни трудно до сих пор в это поверить. Это память о них, и любовь, и жалость к ним, и к оставшимся, и к себе.

М. Белозор

В. Слипченко

С. Тимофееву

П. Пипенко

И. Давтяну

И. Буренину

С. Назарову

М. Саакян

Л. Стуканову

и всем, кто еще не умер

ОТ АВТОРА

Как-то грустно

И как-то ужасно.

Тимур Кибиров

– А я люблю водку

молоком запивать...

Дядя Володя Соколов,

хозяин квартиры № 7

на Трехпрудном

Однажды утром я сидел на крыльце отчего дома и пил пиво. Вышел дедушка.

– Похмеляешься, что ли?

– Вот именно, – говорю.

– Может, тебе рюмку налить?

– Нет, – говорю, – я пиво.

– А то смотри, у меня есть. Дедушка вынес стул и сел.

– Не знаю, – сказал он задумчиво, – я к пиву никогда не относился как к напитку. Так, иногда выпью кружку... Я любил портвейном похмеляться. Бабушка купит бутылку, я выпью грамм сто пятьдесят, полежу, еще выпью...

Наверное, это у меня наследственное – любовь к крепленным винам. Даже став совсем старым и отказавшись от спиртного окончательно, дедушка делал запасы. Выдавая мне очередную бутылку, он внимательно нюхал содержимое и говорил:

– Черносливом пахнет. Хороший портвейн должен пахнуть черносливом.

Даже если вино было совершенной отравой, дедушка все равно улавливал в запахе оттенок чернослива. Мой любимый дедушка.

12 апреля 1996 года, в День космонавтики, я излечился от алкоголизма. А до того почти всю жизнь был человеком пьющим. Я смотрю на себя сегодняшнего и вспоминаю юность. Так сложилась жизнь, что я общался по преимуществу с пьющими. В нашей компании юношеское увлечение алкоголем имело литературное происхождение – раз мы художники, писатели и поэты, то должны пить вино (впоследствии и водку тоже). И сидеть в кафе. Кафе переименовывались на монмартрский манер. С возрастом к прозрачному парижскому оттенку подмешивался российский колорит есенинского толка.

Потом юность кончилась. Отпала нужда в декорациях. Исчезла легкость, поубавилось веселья. Жизнь перестала казаться огромной. Фраза «все еще впереди» утратила смысл. Кое-кто и вовсе умер. Пьянки перестали быть веселыми праздниками, а если и бывали бурными, все больше напоминали какое-то безобразие. Похмелья превратились в кошмары. Однако пьянство, испортив здоровье, расшатав психику, сделало нас такими, какие мы есть. А это уже немало.

Что же такое ценное обнаружили мы в себе взамен утраченного здоровья? Как это – что? А самоирония? А осознание того, что все в жизни имеет относительную ценность и ни к чему нельзя подходить слишком серьезно? А сколькими сюжетами, встречами, приключениями мы обязаны вину и водке!

Старики вспоминают войну. В нашем прошлом войны, слава Богу, не было. О чем мы будем вспоминать, когда станем старыми? О том же, о чем и сейчас, – как мы пили. Ведь в памяти остаются лишь самые яркие фрагменты прошлого, а у нас все самые интересные, смешные, трогательные и романтические воспоминания связаны с выпивкой.

Утверждение, что пить плохо, – ошибочно, потому что пить хорошо. Другое дело, что вредно. Тут не поспоришь. Но вредно и плохо – это как день и ночь. Вредно съесть в день три крутых яйца, потому что в них много холестерина. Может, и так. Но что же тут плохого? Съесть три яйца вредно, украсть – плохо.

По словам Вайля, Довлатов любил историю об известном американском прозаике, который возмущался вопросу к писателям – как вышло, что они стали писателями? Он кричал: это бухгалтера надо спрашивать, как так вышло, что он стал бухгалтером! С питьем то же самое – надо удивляться, почему человек не пьет, настолько это ни с чем не сравнимое ощущение.

Насколько пьянство занятие захватывающее и многоплановое, знают все, кто увлекался им сколь-нибудь серьезный отрезок времени. В нем есть все: и эйфория, и мудрость с вытекающим отсюда разочарованием, падение и восприятие жизни таковой, какова она есть, и унижение. Нет лишь покоя. Но его и нигде нет, ибо он только снится.

Не исключено, что для мыслящего человека пьянство – единственный способ правильно соотносить себя с окружающей жизнью. И то, что «черный люд» ежедневно напивается до потери пульса – разве не следствие осмысления немудреной, но важной истины – сколько ни тужься, итогом всему мать сыра земля? В этом смысле пьянство – никакой не уход от реальности, а необходимое смещение акцентов. Выпьешь – и жизнь кажется не такой обременительной, а золотце на кленах выступает на первый план, и думаешь – как хорошо! А ведь клены и раньше стояли, просто не до того было. Какие, на хер, клены...

Трезвенники не могут этого понять. При этом они бывают умными, симпатичными людьми. С ними приятно и полезно общаться. Но всегда в них чего-то не хватает! В чем-то они обязательно пробуксовывают... Оно и понятно – если бы с ними все было в порядке, с чего бы им быть трезвенниками? Всю жизнь мы поверяли людей алкоголем, как гармонию алгеброй. И

никогда не ошибались.

Это не значит, что среди пьющих не встречается идиотов – сколько угодно! Но пьющий умный человек – это умный человек, а непьющий умный человек – это непьющий умный человек. Вот и вся разница.

Самое же главное, что пьянству нет альтернативы. Его ничем нельзя заменить. Пробел, оставленный трезвостью, невозможно заполнить. Никакое гегельянство, дзен-буддизм или профессиональная деятельность не помогут правильно соотнести себя с миром.

Но к сожалению, нельзя пить бесконечно. Вернее, можно, но ничем хорошим это не кончится. Ибо, как сказал Глазков, «пьянство – единственный вид людской деятельности, в которой частые повторения приводят не к совершенству, а наоборот».

Последствия алкоголизма известны: распавшиеся семьи, расшатанная психика, неприятности на службе, социальная пассивность, интеллектуальная деградация плюс бездуховность. Прибавьте сюда многодневные похмелья, бессонницу, кошмарные полусны-полуявь с монстрами и чертовщиной. А еще милиция, возможность угодить под машину или свалиться под поезд. Сколько опасных для жизни глупостей совершает пьяный человек!

Рано или поздно приходит время решать – пить или не пить, если есть еще такая возможность. Но следует понять главное: отказ от алкоголя – решение исключительно волевое, принятое по жестокой необходимости. И никакого антагонизма к спиртному у человека, решившего завязать, никогда не возникнет. Что очень расстраивает и повергает в недоумение наркологов.

Женщина-врач в сером плаще, приехавшая меня кодировать, все пыталась дознаться – ненавижу ли я вино и водку? И не понимала моего упорства, когда я пытался ей втолковать, что не могу возненавидеть то, что очевидно хорошо. Тогда она сказала:

– Ну ничего. Когда у вас исчезнет зависимость от спиртного, вы увидите, что можно получать не меньшее удовольствие от, например, как-то по-особенному заваренного чая!

Ну да, ну да...

Не знаю, может быть, времена изменились и теперешней молодежи пить не нужно. Пожалуй, я не хочу, чтобы мой сын стал алкоголиком. Но в то же время я хочу видеть его умным человеком с правильным отношением к жизни. Что же делать? Не знаю. Да и сам я, говоря о себе как об излечившемся алкоголике, лукавлю. Эту болезнь нельзя вылечить. Ее можно только законсервировать.

Что же должно прийти на смену алкоголю? Думаю, ничего. Ничто его не заменит. Наркотики разве? Но во-первых, это еще хуже, а потом – вряд ли.

И еще одно наблюдение. Можно получать удовольствие от жизни и без пьянства. Испытывать наслаждение, ощущать удовлетворение, испытывать положительные эмоции. Но чувство живой радости – единственное чувство, которое дает ощущения счастья, – без выпивки испытать нельзя.

Необходимые пояснения

Дом Актера – это полувыселенный, полуразрушенный дом, в котором когда-то жили актеры ростовских театров, а в описываемые времена «самозахватно» обитали художники, поэты, бандиты, просто бездомные люди и даже один композитор.

Трехпрудный – это дом на углу Трехпрудного и Южинского переулков в Москве, в котором два года помещались мастерские художников и известная в столице галерея.

ВВЕДЕНИЕ

Марина: Может, водочки выпьешь?

Астров: Нет. Я не каждый день водку пью. К тому же душно.

А. П. Чехов. Дядя Ваня

Подобные эпиграфы радуют людей посвященных. Как радуют многие, казалось бы, ничего не значащие слова, фразы или ситуации, непонятные непьющему человеку. Например, такая сцена: на улице один серьезный человек показывает другому бутылку портвейна и убедительно говорит: «Это, кстати, очень хорошее вино!» При этом у обоих внимательные,

задумчивые лица.

Существует великое множество слов и выражений, присущих и понятных пьющему человеку, любимых им, узнаваемых, словно какой-то особенный язык какой-то особенной страны. Волшебной страны. Из них можно составить отдельную книгу, и многие, читая ее, поймут и улыбнутся с теплотой. Например:

- Наливай!
 - Стакан есть?
 - Не-не-не, я не буду!
 - Нормально пошло.
 - Может, водки?
 - Или три?
 - Или все-таки три?
 - Запить есть?
 - Честно, денег нет.
 - А вчера че было?
 - Получилось, типа, по стакану...
 - Ключ хотя бы есть?
 - Два сухих лучше...
 - До хуя не наливай!
 - Лучше два портвейна...
 - Я же говорил: бери три!
 - Я один не пойду!
 - Слили всю хуйню в один стакан...
 - Там, кроме водки, ничего не было!
 - Только так: пьем и уходим!
 - Там типа бара...
 - Могу блевануть...
 - В принципе, у меня есть деньги...
 - Бабам поменьше...
 - Да он не пьет...
 - А у Димы спрашивал?
 - В принципе, у меня на книжке есть...
 - Говорят, кодироваться вредно.
 - Просыпаюсь – бя-а-а-а!
 - Дима кодировался – и хуля толку?
 - Ну, сколько я могу? Смотря за сколько...
 - Надо покушать...
 - Я думал как: выпьем и пойдем...
 - Можно в гости пойти...
 - Конечно «Анапу»!
 - Тебе сколько брать?
 - Это что? Водка?
 - Помню, как в метро ехал...
 - Сумку возьми!
 - Конечно буду!
 - Видимо, упал...
 - Потом не помню...
 - Я, вообще, домой. А что?
 - Хуля – не пей!
- И многое другое.

АВДЕЙ СТЕПАНОВИЧ ТЕР-ОГАНЬЯН

Пить мы с ним начали одновременно, году в 1979-м, ближе к зиме. Авдей Степанович –

мой любимый друг, мы знакомы без малого двадцать лет. Странно сознавать, что в наших молодых жизнях уже фигурируют такие временные периоды.

Авдей Степанович художник. Он решил стать художником в детстве и, решив, зажил как художник. Это непростая жизнь. Не то чтобы исключительно трудная, скорее специфическая.

Когда-то в Ростове-на-Дону Авдей Степанович жил «на Западном», на краю жилой застройки. Его однокомнатная квартира находилась на седьмом этаже четырнадцатизнаковой свечки, окна выходили на дачный посёлок, старое Нижнегниловское кладбище и летное поле учебного аэродрома. Ночью с его балкона можно было через степь разглядеть огни Азова. В общем, вид из окон его квартиры открывался прекрасный. Поскольку Авдей Степанович художник, его квартира была и его мастерской. Там он занимался живописью, там жила его семья – жена и два сына, там же собирались друзья и устраивались праздники.

Поначалу Авдей Степанович учился в Ростовском художественном училище, но со второго курса его выгнали «за авангардизм».

Вообще, в Ростове тех лет Авдей Степанович был фигурой заметной.

Сейчас он живет в Москве. Личность он глубокая, противоречивая, и при этом он единственный человек, с кем я за долгие годы ни разу не поссорился. А сколько великолепных часов мы провели вместе – не сосчитать!

Теперь не то. Мы любим друг друга по-прежнему, да жизнь перестала быть веселой. Если он, не дай Бог, умрет, мне будет страшно одиноко на этом свете. Если умру я, он тоже, конечно, расстроится.

На свадьбе у Валерия Чебана Авдей Степанович Тер-Оганьян напился, и его отнесли домой. Утром он проснулся и видит: посреди комнаты на коврике лежит кучка. Аккуратная такая кучка, опрятная. Он удивился. Кто же это сделал? Кошки у них нет. Может, папа? Нет, вряд ли папа. Как же это? Что же все-таки произошло?

Авдей Степанович Тер-Оганьян жил в Ростове с детьми, а его жена Марианна была в Болгарии. И он полюбил одну очаровательную девушку.

Приехала из Болгарии жена. Все сидят на кухне, завтракают. На столе стоит букет цветов. Старший сын Давид говорит:

– Вот, мама, хорошо! Папа вчера Маше купил, теперь тебе будут!

Когда Авдей Степанович Тер-Оганьян жил с Машенькой в Доме Актера, он с ней часто ругался и делал это всегда шумно: орал, размахивал руками. Однажды в пылу гнева он оторвал свисавшую с потолка горящую электрическую лампочку.

Авдей Степанович Тер-Оганьян поссорился с Машенькой, а потом помирился. Идут они по городу: лето, жара, настроение отличное. В «Спутнике» дают пиво, стоит огромная очередь. Авдей Степанович говорит:

– Машенька, давай пива купим, а то очень жарко?

– Конечно, – говорит Машенька и дает ему десять рублей.

Он занимает очередь, долго стоит и все думает: сколько брать? Чем ближе к окошку, тем сильнее он нервничает и в последний момент говорит в смятении:

– На все!

Ему выдают двадцать бутылок. Он их ставит на землю и кричит Машеньке:

– Посторожи пиво, я пойду попрошу ящик! Машенька видит количество бутылок, молча поворачивается и уходит.

Авдей Степанович растерялся. Сторожить бутылки – Машеньку потерять, бежать за Машенькой – пиво украдут. А Машеньки уже и не видно.

Все-таки попросил он мужиков покараулить и побежал. Еле догнал.

– Машенька, – говорит, – ты чего? Она отвечает:

– Ничего!

– Это же пиво, не водка!

Та идет, молчит.

– Ну ладно, – говорит Авдей Степанович, – хочешь, я брошу это пиво к черту?

– Нет, – говорит Машенька.

Тогда Авдей Степанович остановился и подумал: «Действительно, как это бросить?» И побежал обратно. Нашел ящик, сложил пиво и отправился к Сергею Тимофееву.

Как-то Авдей Степанович Тер-Оганьян купил несколько бутылок вина и зашел в гости к Сергею Тимофееву. Сидят они, пьют. Пришел композитор испанского толка Александр Прозоров. Авдей Степанович успел вино в портфель спрятать. У Прозорова авоська, а в авоське бутылки с какой-то бирюзовой жидкостью.

– Что это у тебя? – спрашивает Авдей Степанович.

– «Нитхинол», – говорит Прозоров. – Будете?

– Не-не-не! – говорит Авдей Степанович. – Сам пей, мы не хотим.

Прозоров открыл бутылку, налил себе стакан, выпил и уснул.

Стали подходить другие гости, всем предлагался «Нитхинол», и все понемногу пили, а Авдей Степанович с Тимой незаметно пили вино. Потом все ушли, остался только спящий Прозоров. Авдей Степанович с Тимой взяли его авоську и пошли гулять. На улице к ним подошел человек.

– Ребята, рубля не будет?

– Нет денег, брат. Вот «Нитхинол», хочешь?

– Хочу! – сказал человек. – А вы?

– Не-не-не, – сказали ребята, – мы уже выпили. Это тебе.

– Спасибо! – сказал человек. – А сырка у вас нет? А то я так не могу.

– Нет сырка.

– Тогда можно я домой возьму?

– Бери, – сказали ребята, – пей на здоровье!

Однажды на Кировском был какой-то праздник. Напились, и Марина всех выгнала, остались только мы с Олей. А Авдей Степанович, Вася Слепченко и Сергей Карпович Назаров пошли к последнему догуливать.

Глубокой ночью вдруг распаивается дверь, вваливается рыдающий Авдей Степанович, видит меня и начинает голосить:

– Макс! Поднимай армян! Идем Назарова мочить!

Авдей Степанович, безусловно, армян. Но и Назаров армян. Какие тут могут быть национальные претензии?

– Что случилось, старик? – спрашиваю.

– Назаров меня душил! – вопит Авдей Степанович. – Вася заснул, а Назаров схватил меня за горло! Я вырвался, схватил торшер, ну, думаю, тут ему и пиздец! Но он меня опять победил! Я вырвался и убежал! Поднимай немедленно армян, идем его мочить!

Кое-как его успокоили, сидит он, плачет.

– Давай, – говорю, – лучше выпьем!

– Давай, – говорит Авдей Степанович, – только я руки помою.

А у Марины раковина была без слива, и под ней стояло ведро. Авдей Степанович подошел к умывальнику, смотрит – ведро полно до краев, огрызки в нем плавают, окурки. Он, кряхтя, наклоняется, поднимает ведро и... выливает его в раковину! И все это говно льется на пол! Целое ведро!

Однажды ночью Авдей Степанович Тер-Оганьян и Сергей Карпович Назаров совершенно пьяные пришли домой к Назарову. Старики Назаровы уже спали. А жили они в то время в двухкомнатной квартире, и родители часто менялись с сыном комнатами.

Ночью Авдей Степанович пошел в туалет и на обратном пути перепутал комнаты. Ходит он в темноте по родительской спальне, шарит по стене руками в поисках выключателя. Выключателя не нашел, зато нащупал диван, а на нем какие-то ноги. Тут он понял: что-то не так!

А в это время Карп Сергеевич проснулся и видит: по комнате бродит какой-то человек. Карп Сергеевич бесшумно встает, снимает со стены декоративную саблю и подкрадывается сзади. Слава Богу, в последний момент свет из коридора упал на Авдея Степановича. А то

зарубил бы его Карп Сергеевич.

Авдей Степанович гулял с детьми около «Солнца в бокале» и встретил знакомую, которая купила авоську вина для какого-то праздника. Решили они одну выпить. Нашли местечко, только открыли – милиция!

Посадили их с детьми в «уазик», повезли в отделение. По дороге домой Авдей Степанович говорит детям:

- Только бабушке не рассказывайте, где мы были!
- Конечно, папа, мы не расскажем! На другой день мама ему говорит:
- Ты что же, в милиции был?

Оказывается, когда Авдей Степанович ушел, дети у бабушки спрашивают:

- Бабушка, отгадай, в какой машинке мы вчера катались?
- Не знаю, – говорит бабушка, – в какой?
- На букву «м».
- В «Москвиче»?
- Нет!
- В маленькой?
- Не угадала!
- В медицинской «скорой помощи»?
- Нет!

Тут дедушка, который лежал на диване, и угадал.

На Пасху в Ростове проходил рок-фестиваль. Все ходили на концерты, а я не ходил, работал. Как-то приехал к нам в гости Давтян. Пошли мы с ним за водкой. Идем и вдруг видим процессию: бредут человек десять любителей рока. Впереди Авдей Степанович несет эмалированное ведро, а сзади Гузель с Ириной Михайловной ведут под руки Севу. И видно, что Севе не то чтобы плохо, а просто человек умирает. Мы подходим, все останавливаются.

- Какие люди! Куда же это вы идете?

- В «Женеvu» за пивом!

Завязывается беседа. Тут Сева начинает оседать на землю. Авдей Степанович кричит:

- Посадите Севу на ведро!

Ведро кладут на бок, сажают Севу. Но ведро круглое, и Сева все время падает.

– Блядь! – кричит Авдей Степанович. – Кто же так на ведро сажает! Надо ведро перевернуть вверх ногами!

Перевернули, пересадили Севу. Ничего, сидит, не падает. Только что-то шепчет. Гузель наклонилась:

- Что, Сева?

- Жарко...

- Конечно жарко! – кричит Авдей Степанович. – Какой же мудака его на солнце посадил?!

Посадите его в тень!

Севу пересаживают, прислоняют спиной к акации.

- Чего вы его с собой потащили? – спрашиваем мы с Давтяном. – Пусть бы спал!

- Потому что у него есть десять рублей! – говорит Авдей Степанович.

Авдей Степанович Тер-Оганьян и Сергей Тимофеев приехали в Москву и поселились в подростковом клубе. Как-то вернулись они пьяные. Тимофеев говорит:

- У меня тут неподалеку живет любимая девушка. Буквально в двух шагах. Я к ней пойду.

И ушел. А Авдей Степанович остался один-одинешенек. Ночь наступила, и стало ему

совсем грустно. Решил он пойти поискать Тиму.

Вышел на улицу: темень, микрорайон, окна в домах почти все уже погасли. Видит он, в одном доме на каком-то высоком этаже окошко светится.

«Там, наверное, Тима!» – решил Авдей Степанович.

Поднялся на лифте, вычислил, какая дверь, позвонил. Сначала долго не открывали, потом вышел огромный сонный мужик в трусах и в майке.

Авдей Степанович сразу догадался, что Тимы там, наверное, нет, но так просто уже не уйдешь, неудобно. Он смутился и говорит:

– А Сережа не у вас?

– Какой Сережа! – говорит мужик. – А ну иди, на хуй, отсюда!

И Авдей Степанович пошел обратно в клуб.

Когда мы с Авдеем Степановичем жили в бактериологической лаборатории, то пили каждый день. Однажды он разбудил меня утром, и пошли мы на Сушевский вал за вином. Купили две бутылки. Одну выпили на качелях, а вторую понесли домой. Утро, солнышко, золото на кленах! Подходим к лаборатории. Авдей Степанович говорит:

– Если на крыльце будут стоять эти козлы, надо притвориться, что мы не пьяные. А то каждый день неудобно...

Смотрим: на крыльце стоят наши хозяева. Они занимали второе крыло здания. Проходим мимо них, напрягшись, Авдей Степанович говорит вежливо:

– Добрый вечер!

– Добрый вечер, добрый вечер! – говорят, улыбаясь, хозяева.

А было около одиннадцати утра. Или около десяти, точно не помню.

Пьяные часто падают. Как-то мы с Авдеем Степановичем возвращались в баклабораторию и оба упали каждый по три раза.

Пьяный Авдей Степанович спит, укрывшись с головой одеялом, и во сне с одинаковыми интервалами монотонно повторяет: «Иди на хуй!»

– Видите, меня на хуй посылает! – говорит его жена Людмила Станиславовна.

– Почему тебя? – возражает моя жена Оля. – Он так, вообще. Всех посылает.

– Да, – говорит Людмила Станиславовна, – только почему-то все время в единственном числе.

Однажды ночью Людмила Станиславовна проснулась от какого-то шума. Посередине комнаты на стуле сидел Авдей Степанович Тер-Оганьян и пел песню.

Авдей Степанович Тер-Оганьян и Сергей Тимофеев зашли во двор выпить. Авдей Степанович выпил, передал бутылку Тиме. Стал тот пить. Вдруг Авдей Степанович видит: входят в подворотню несколько человек в фуражках. Он говорит:

– Тима, менты!

Тима стал пить быстрее. А темно и не видно особенно. Авдей Степанович присмотрелся:

– Не, Тима, это не менты. Это солдаты! Опять присмотрелся – не разобрать!

– Или менты? Темень, не видно.

– Не, не менты, солдаты. А те все подходят.

– Старик, – говорит Авдей Степанович наконец, разглядев, – это менты!

– Менты, менты, – говорят менты, – ну что, пошли?

Однажды сидели очень сильно пьяный Авдей Степанович с Сергеем Тимофеевым, тоже выпившим. О чем-то они спорили. Авдей Степанович, очень уже уставший, смотрит в одну точку и твердит:

– Ты козел, Тима... ты козел. Какой же ты козел, Тима!.. Козел...

Потом замолчал надолго, сник и вдруг, встрепенувшись, говорит Тимофееву:

– Сам ты козел!

Авдей Степанович искал квартиру. Обзванивал посредников, звонил по объявлениям, подбирал варианты. И наконец уснул. Звонит телефон. Находившийся в гостях Николай Володин снял трубку.

– Алле, здравствуйте! Можно Авдея?

– А кто его спрашивает?

– Это по поводу квартиры. Он хотел уточнить условия.

– А, да-да-да! Вы знаете, он сейчас пьяный спит! Вы не могли бы перезвонить попозже?

Авдей Степанович Тер-Оганьян и Сева опоздали на Васины похороны. Приехали – там уже поминки вовсю идут, и постепенно начинается праздник на грани цинизма.

Авдей Степанович тоже хорош. Вошел, взял со стола стакан с водкой, накрытый пирожком, водку выпил, а пирожок съел. А это были Васины символические стакан и пирожок.

Как-то в гости к Авдею Степановичу Тер-Оганьяну зашла одна девушка. Заговорили о старой Москве.

– Знаешь, что такое Чумной приказ? – спросила девушка.

– Ну? – спросил Авдей Степанович.

– Они ездили по городу на телегах и собирали трупы.

– Все-таки трупы так уж по Москве не валялись, – сказал Авдей Степанович.

– Валялись!

– Ерунда. Как ты себе это представляешь? Ну, Средние века, понятно. Но все же город, улицы. Какие трупы?

– Трупы валялись на улицах!

– Вот смотри, – Авдей Степанович подошел к окну, – видишь, примерно такие же были улицы. Люди ходят. Какие трупы!

Он посмотрел вниз и обмер – на тротуаре, раскинув руки, лежал человек! Был ясный день, светило солнце. Мимо спешили прохожие, ездили автомобили. Человек лежал и практически даже еще не был трупом. Он дышал и шевелил ногой.

Возвращаясь из гостей, Авдей Степанович часто засыпал в метро и проезжал свою станцию. На конечной его будил милиционер, он пересаживался во встречный поезд и снова просыпал свою станцию. Тогда он взял за правило по возможности не спать до кольцевой линии. Там он пересаживался и гонял по кольцу, пока не проспится.

У Мирослава Маратовича Немирова есть стихотворение:

«Станция „Речной вокзал“!

Поезд дальше не идет!»

– А меня, блядь, не ебет!

Я и ехал, блядь, сюда!

Мне сюда и нужно было!..

Ранним новогодним утром одним из первых поездов метро Валерий Николаевич Кошляков вез Авдея Степановича с праздника домой. Авдей Степанович всю дорогу громко декламировал: «Станция „Речной вокзал“! Поезд дальше не идет!» – и так далее. Пассажиров было немного, и все тоже, видимо, возвращались по домам после новогодней ночи. И вдруг после очередной декламации Авдея Степановича: «Станция „Речной вокзал“! Поезд дальше не идет!» – весь вагон подхватил хором: «А меня, блядь, не ебет! Я и ехал, блядь, сюда!»

Как-то у Авдея Степановича собрались гости. Мирослав Маратович Немиров напился и стал все крушить. Его утихомирили. Он поначалу вроде успокоился, а потом рассвирепел и обоссал все вокруг. Утром Авдей Степанович проснулся и увидел на столе у дивана чашку с вином. Дотянулся, взял и выпил. А это оказалось не вино, а немировская моча. А сам Немиров тут же спит. Авдей Степанович его разбудил спрашивает:

– Ты зачем в чашку нассал?

– Когда? Я не ссал.

Авдей Степанович, как его мочу выпил, сначала расстроился, а потом вспомнил, что мочу же, в принципе, пьют. Вроде это полезно.

Однажды Авдей Степанович лежал на диване и услышал пение. Посмотрел в окно и видит: с той стороны окна стоит Сева Лисовский и поет. А потом превращается в змею, вползает в форточку, шлепается на пол и ползет, ползет прямо к Авдею Степановичу!

Как-то Авдей Степанович проснулся: состояние – хуже не бывает, что вчера было – неизвестно. Лежит он, страдает и вдруг... просыпается! Состояние превосходное, никакого похмелья, голова свежая, мысли ясные, а тело отдохнувшее! И не пил он вчера, просто сидел.

Вот как бывает.

Авдей Степанович слетал в Париж, а как вернулся – не запомнил. Ночью он заблудился и испугался. Видит: в машине сидит человек. Он подошел и спрашивает кое-как по-английски:

– Ай эм сорри! Хелп ми, плиз! А тот отвечает по-русски:

– Тебе чего?

Авдей Степанович обрадовался.

– Старик, – говорит, – ты русский! И я русский! Ты откуда?

– Из Тулы.

– А я из Москвы!

– А сейчас ты где? – спрашивает человек.

– Как где? В Париже.

– А, – говорит человек. – Ты вон туда посмотри.

Авдей Степанович посмотрел, а там Курский вокзал.

Ранним зимним утром Авдей Степанович проснулся сидящим в вагоне. Посмотрел в окно: платформа, снег, на снегу стоит солдат. Ну, думает Авдей Степанович, опять в метро заснул. И спрашивает:

– Солдат! Это какая станция? А с платформы говорят:

– Это город Воскресенск!

Однажды я вел Авдея Степановича домой, нас остановила милиция и забрала его в участок. А я пошел пешком вызволять друга. Прихожу – сидит Авдей Степанович в обнимку с двумя солдатами, в чем-то их горячо убеждает и иногда целует. Эти солдаты были прикомандированы к милиции для усиления патрульной службы.

Когда нас отпустили, Авдей Степанович мне сказал: «Я их убедил, что русским солдатам не пристало служить сатане!» Потом он долго шел по улице и орал: «Мы, русские сол-л-л-даты!» Я ужасно измучился и посадил его на какой-то парапет, чтобы передохнуть. Тут подошла старуха и покропила Авдея Степановича святой водой.

Однажды я положил Авдея Степановича в незаметном месте у станции метро «Кожуховская», а сам спустился вниз позвонить по телефону. Поднимаюсь – Авдея Степановича нет. Смотрю – неподалеку на лавочке пьют мужики.

– Эй, – говорю, – тут человек лежал, не видели, куда делся?

– Это твой, что ли, был? – говорят мужики. – Вон, видишь, менты поехали? Это они его забрали.

Смотрю – вдалеке воронок едва виден. Ну, думаю, слава Богу!

Авдей Степанович Тер-Оганьян обладает аналитическим складом ума. Однажды он обнаружил на спине своего пальто следы блевотины. Стал рассуждать и нашел объяснение этому странному обстоятельству: когда он летел в Ростов на похороны Давтяна, то опустил сиденье, уснул, и его стошнило. А потом уже подтекло за спину.

Логика помогла ему решить еще одну загадку. Все на том же пальто он заметил следы блевотины, опять-таки сзади, причем ровную горизонтальную полоску. Он стал рассуждать и вспомнил, как его тошнило с Красносельского моста. Тогда, сопоставив факты, он сообразил, что, по-видимому, наблевал на перила, а потом прислонился к ним спиной.

Как-то Авдей Степанович познакомился с немецкой девушкой. Проснулся он однажды у нее и попросил сходить в киоск, купить две бутылки сухого и зажигалку. Немецкая девушка сходила и принесла две зажигалки и одну бутылку сухого.

Однажды я позвонил Авдею Степановичу и спросил:

– Ну, ты как?

– О-о-о-ой! – сказал Авдей Степанович.

– Что, едва-едва живой?

– Е-два, е-четыре, – сказал Авдей Степанович.

Авдей Степанович Тер-Оганьян в пальто и шапке шел по улице. Из телефонной будки высунулась толстая тетка и спросила:

– Дедуль, рублика не найдется?

Что за человек Валерий Николаевич Кошляков, видно из приведенных ниже историй. И все-таки, чтобы о нем не сложилось однобокое впечатление, необходима оговорка. Не думайте, Валерий Николаевич очень талантливый художник и тонко чувствующий человек. Его исключительное целомудрие в некоторых вопросах – уникальная особенность его личности. За это качество, помимо, разумеется, великодушия и таланта, он и любим, этим и симпатичен. А еще Кошляков практически не пьет, что тоже многое объясняет.

Художник Валерий Кошляков человек очень простодушный. Однажды Авдей Степанович познакомил его с известной ростовской инакомыслящей Мариной П., и та пригласила Кошлякова в гости.

Через несколько дней встречается она Авдея Степановича и говорит: «Кого ты ко мне привел? Мне было так неудобно!»

Оказывается, пришел Валерий Николаевич в гости, сидит, чай пьет. А вокруг все: Сахаров да Сахаров!

Валерий Николаевич спрашивает: «А кто такой Сахаров?»

Все на него посмотрели, покашляли, но, однако, объяснили. И опять: Солженицын да Солженицын!

Валерий Николаевич смутился было, потом чаю выпил и спрашивает: «А кто такой Солженицын?»

Когда стало известно, что Мирослав Маратович Немиров собирается жениться на Юлиньке Глезаровой, все говорили: идиот!

Один Валерий Николаевич Кошляков сказал: – Ну а как же? Как же он не будет жениться? Он же там жил, питался...

Валерию Николаевичу мама из города Сальска часто присылала сало, крупы, чеснок и другие сельские продукты. И он всех угощал. Как-то пришли к нему в мастерскую барышни. Валерий Николаевич налил им чаю, нарезал сала и говорит: «Угощайтесь, девчонки, кушайте! Вот чеснок берите, очень помогает от глистов!»

Однажды Авдей Степанович Тер-Оганьян и Валерий Николаевич Кошляков ехали в метро. Авдей Степанович купил газету, сел в вагоне, собрался читать. Кошляков, вообще, читатель тот еще, а в метро сроду не читает. А тут вдруг вынимает из портфеля книгу.

Авдей Степанович удивился и думает: что за книга? Посмотрел. Книга называлась «Гайморит».

Валерий Николаевич Кошляков простудил нос, и у него начался гайморит. Просто мученье. Нашел он книгу о гайморите, так и называется – «Гайморит», и в ней прочитал, что очень полезно полоскать носоглотку мочой. Стал лечиться.

– Ну как? – спрашивает его Авдей Степанович.

– Старик, помогает! – говорит Валерий Николаевич. – Втянешь и полощешь. Только в горло все-таки немного попадает. Приходится глотать.

У Валерия Николаевича Кошлякова в Ростовском театре музыкальной комедии была мастерская под самой крышей. Туда к нему приходили друзья. В то время в театре шел спектакль, в котором актрисе по сюжету нужно было моментально переодеваться. В гримерную она не успевала, а забегала за кулисы, сбрасывала с себя одежду и надевала другое платье.

Валерий Николаевич знал наизусть все спектакли. Когда начиналась определенная музыкальная фраза, Валерий Николаевич прислушивался, говорил: «Бежим!», и все, кто у него находился, бежали и лезли на колосники. Оттуда было отлично видно переодевающуюся актрису. Она раздевалась полностью, почему-то даже снимала трусы.

К обеду в мастерскую к Валерию Николаевичу Кошлякову приходили друзья и звали его пить пиво. Валерий Николаевич отказывался:

– Не, вы сами идите. Я пойду в столовую, борща попою...

У всех, прошедших срочную службу, сохранилось множество ярких воспоминаний. Валерий Николаевич Кошляков, например, служил на советско-турецкой границе и через реку часто наблюдал, как на том берегу турки совокупаются с ослом.

У Авдея Степановича Тер-Оганьяна на полке лежал воздушный шарик. Такой американский, тощий и длинный, похожий на сосиску. Я приставил его к одному месту и

помахал. Авдей Степанович засмеялся:

– Вот реакция нормального человека! А то вчера Кошляков приставил его к носу: смотри, говорит, какой смешной нос!

Когда Авдей Степанович Тер-Оганьян пожаловался Валерию Николаевичу на то, что тетка на улице назвала его «дедулей», Кошляков сказал:

– Это ничего, старик. Меня на улице часто за деда принимают.

ВИКТОР АСАТУРОВ

Виктор Асатуров – человек несомненно замечательный. Он не писатель, не поэт, не художник. Он – вообще... Главное в нем – колорит. Общение с ним не только полезно и поучительно – это всегда яркое, захватывающее зрелище. Типа, театр одного актера. Асатунова нужно наблюдать в жизни, в действии, в естественной среде обитания. О нем существует множество анекдотов, некоторые из которых невозможно привести – слишком они неприличны даже для этой, далекой от ханжества книги.

Князь Виктор Асатуров лежал у мамы на диване. Квартира находилась на третьем этаже старого ростовского дома. Виктор Асатуров дремал. И вдруг он увидел, что карпики, которых он купил на рынке, вылезают из авоськи и направляются прямо к нему. Причем вид у них самый агрессивный, а зубы как гвозди.

Он испугался. Вскочил с дивана – и к окну. Они за ним! Он на балкон – карпики за ним на балкон! Что делать? Не пропадать же! И Виктор Асатуров прыгнул с балкона.

Когда Виктор Асатуров был первый раз женат, с ним произошел забавный случай. Вернулся он после запоя, повалился на кровать и вдруг обнаружил, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой – парализовало!

Вот он лежит, приходит жена, видит Витю и начинает кричать:

– Алкаш! Пьяная скотина! – в таком духе.

Витя что-то сипит, пытается втолковать, что ему очень плохо. Она не слышит:

– Свинья! – кричит. – Алкоголик!

Тот все шепчет что-то. Наконец она подошла:

– Что? Что ты можешь мне сказать, уродина!

– Наклонись, – шепчет Витя. – Я тебе на ухо скажу!

Она и наклонилась. Тогда Асатуров собрал последние силы и откусил ей пол-уха.

Мама у Асатунова прокурор, а папа сидит в тюрьме. Такая интересная семья. Однажды у мамы был день рождения, товарищи по работе пришли ее поздравить. Асатуров вышел, посмотрел на застолье и сказал ворчливо:

– Понавела полный дом ментов! Родному сыну присесть негде!

Виктор Асатуров долгое время употреблял наркотики. К нему приходили друзья-наркоманы покурить, поколоться. А Витина мама – Нина Эрвандовна – была прокурором и имела табельное оружие.

Однажды, когда к Вите, как обычно, пришли товарищи и стали заниматься наркоманией, маму охватило безумие. Она выхватила один из своих пистолетов и велела всем убираться. Гости, понятно, испугались, быстренько собрали наркотики и стали уходить. Но на лестнице кто-то нечаянно обронил резкое слово. Это переполнило чашу терпения Нины Эрвандовны. Закричав, она спустила предохранитель и открыла огонь на поражение. Вопя от ужаса, гости бросились бежать, а Нина Эрвандовна, стреляя, гналась за ними по лестнице.

Когда гости выскочили на улицу и отбежали подальше, они остановились перевести дух. Но тут на балконе появилась Нина Эрвандовна и открыла огонь. К счастью, никого не убила.

Витя утверждал впоследствии, что мама схватила оба пистолета и стреляла по-македонски.

Однажды Виктор Асатуров и Сергей Тимофеев, совершенно пьяные, нашли один из пистолетов мамы Асатунова Нины Эрвандовны и запас патронов к нему. Они улеглись на диван и принялись стрелять в потолок. Они стреляли довольно долго, но потом, к счастью, приехала милиция, и все обошлось.

Князь Виктор Асатуров и Сергей Тимофеев сидели в кафе. К ним подошел человек,

наклонился и сказал негромко:

– Есть маза!

– Ну, – сказал Асатуров.

– Есть маза продать паспорт!

– Чей паспорт? – спросил Асатуров.

– Мой!

– А, – сказал Асатуров, – а нахуя продаешь?

– Бабки нужны.

– Понятно, – сказал Асатуров, – а сколько хочешь?

– Ну, – сказал человек, – вмазать надо. Тимофеев сказал:

– Извини, брат, нам не надо.

– Подожди, – сказал Асатуров, – садись сюда, братское сердце! Слушай меня. Сейчас мы идем в «Тополя». Садимся, короче, заказываем выпить, покушать. Культурно отдыхаем. Потом ты говоришь: «Ой! Бабки дома забыл!» Оставляешь паспорт. Типа: сейчас сбегая принесу. Мы тихо встаем и уходим. И хуй с ним, с паспортом!

Они пошли в «Тополя», сели, заказали выпить, закусить. Когда стали закрывать, Асатуров поднялся:

– Ну, мы пошли, брат. Сдавай паспорт и подходи. Мы на улице.

На улице они закурили и стали ждать. Вдруг сверху послышались крики, шум драки. Фокус с паспортом не сработал, человека били.

– Пойдем, – сказал Асатуров. – Хуля мы ему поможем?

Однажды Виктор Асатуров нашел бумажный рубль с серийным номером, состоящим почти из одних девяток, и с его помощью какое-то время добывал средства к существованию. В ресторане «Южный» он подходил к человеку, предлагал сыграть в номера и неизменно выигрывал. Разумеется, выигрыш немедленно шел в дело, и спустя час Витя сомнамбулически перемещался от столика к столику, пугая командировочных колоритной внешностью и неожиданным вопросом: «У тебя какой номер?»

Саша Кузнецова рассказывала: «Еду я в трамвае. Вдруг вожатый резко тормозит. Впереди какие-то крики, шум. Что случилось? Все вылезли из вагона, я тоже. Смотрю: на рельсах лежит человек. Пригляделась – спит! Пригляделась – Асатуров!»

ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ БУРЕНИН

Гоша – единственный из компании, кто умер, если можно так выразиться, естественной смертью: от цирроза печени. Впрочем, еще Марина, его жена. У нее во время диабетической комы отказали почки.

Гошина могила на Северном кладбище в Ростове – пример отчаянной бренности бытия: едва различимый в бурьяне холмик у самой дороги, по соседству с мусорной кучей, в ряду безликих бугорков с табличками «Неизвестный мужчина». Правда, на его собственной жестяной табличке написано «Игорь Буренин». Известный мужчина, стало быть.

Можно не врать себе: за Гошиной могилой никто не будет ухаживать. Его мама – Роза Соломоновна – умерла в далеком городе Львове, а Марина лежит неподалеку от Гоши, буквально в соседнем квартале. А мы, друзья, – такие, какие есть – неудачные друзья...

Гоша был гармоническим человеком: писал стихи, рисовал, шутил. После гармонических людей, как правило, ничего не остается. И от Гоши ничего не осталось. Только память.

Наше знакомство совпало с началом перестройки, на память он читал нам с Олей стихи Саши Соколова:

Вот умрет наша бедная бабушка,

Мы ее похороним в земле,

Чтобы стала она белой бабочкой

Через сто или тысячу лет.

Теперь сам Гоша стал белой бабочкой. Марина, конечно, тоже.

Они жили на Северном в большой квартире. Это был открытый дом. На протяжении многих лет они, наверное, ни разу не оставались одни. У них все время кто-то жил, или спал,

или сидел на кухне. А кроме того, у них постоянно случались праздники.

Поскольку в доме пили практически непрерывно, Гоша тоже пил непрерывно. Но если гости все-таки менялись, то он оставался величиной постоянной.

Он был единственным, кто ни разу не бросал пить, не притормаживал, не делал перерывов – не видел в том необходимости. Да и незачем было. И честно умер от цирроза.

Последнее время мы не общались по причинам географическим и из-за глупостей, которые кажутся важными. А может быть, в этом и заключается печаль жизни: с годами мы становимся все меньше нужны друг другу. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот.

Гошу Буренина часто разбивали параличи. Иногда целиком, иногда частично. Чаще всего отказывали ноги. В такие дни он лежал на диване, ему периодически подносили рюмку, он выпивал и спал.

Как-то идет у них с Мариной перманентная пьянка. Кто пьет, кто спит, кто по делам вышел. Кто вернулся и опять пьет. Квартира большая, места много.

Сергей Тимофеев куда-то отлучился. Возвращается и видит картину: в дальней гостиной пьют, в распахнутую дверь спальни виден лежащий на диване Жека-спонсор. А по коридору с кухонным ножом в руке к нему ползет как раз парализованный Гоша.

Тима спрашивает:

– Гошенька, старик, ты куда? Гоша ползет с трудом и бормочет:

– Пиздец ему! Все, блядь, ему пиздец!

Тима посмотрел: ползти Гоше еще далеко, да и ползет он медленно. Ну, думает, не беда. И пошел на кухню чего-нибудь перекусить.

Однажды Гоша решил повеситься, а ходить на тот момент он уже не мог. Заполз в туалет, привязал веревку к унитазу, надел петлю на шею и стал тянуть. Тянет-потянет – ничего не получается!

Положили его спать.

Решил как-то Гоша уйти от Марины. Лежит на диване и кричит ей правду!

Все вокруг собрались, сидят, пьют потихоньку, шутят. Марине надоело.

– Все, – говорит, – хочешь уходить? Уходи!

А на улице дождь, и уходить Гоше особенно некуда. Он подумал и говорит:

– Я уйду! Но сначала я тебя убью! – Встал с дивана и пошел за инструментом.

Всем интересно, сидят, ждут. Вот входит Гоша с топором и начинает декларировать свои претензии. Топором размахивает. Ему говорят:

– Гоша, ляг!

Он тогда совсем обижается и кричит:

– А, блядь! Тогда я в окно выброшусь!

– Ладно, – говорят ему, – давай.

Бросил Гоша топор и головой в окно. Стекло разбил, но не вывалился, застрял. Стали его обратно тащить, изрезались все в кровь. А на Гоше ни царапины!

Сергей Тимофеев сидел на кухне, а Гоша Буренин спал в дальней комнате. Вдруг Тимофеев слышит: «Тима! Тима!» Пошел посмотреть.

Лежит Гоша на диване, ногу из-под одеяла высунул, смотрит на нее с ужасом и кричит:

– Тима! Мне пиздец!

– Что такое, Гошенька?

– Мне пиздец! У меня копыта растут!

– Ты что, старик! Спи!

– Вот же! Смотри, блядь, копыта! Ты что, не видишь? Смотри, я сейчас стену пробью! – И как даст ногой по стене.

И пробил.

День рождения Всеволода Эдуардовича Лисовского праздновали на набережной в «Ракушке». Это был самый короткий день рождения в мире. Он длился минут 20-25. Потом Гошу Буренина нужно было отвезти домой.

Марина стоит на обочине, ловит машину. В кустах лежит Гоша. Рядом с ним стоит Алексей Евтушенко и следит, чтобы Гоша не уполз. Подъезжает «Волга».

– Северный! – говорит Марина.

- Трояк, – отвечает водитель.
- Ладно, – говорит Марина, оборачивается и кричит: – Леша! Неси Гошу!
- Из кустов высовывается Евтушенко.
- Пять! – говорит водитель. Марина кивает и кричит:
- Неси Гошу!
- Леша лезет в кусты и вытаскивает Гошу.
- Червонец! – говорит водитель.

ВСЕВОЛОД ЭДУАРДОВИЧ ЛИСОВСКИЙ

Всеволод Эдуардович Лисовский всегда был самым молодым, а долгие годы просто ребенком. Правда, очень одаренным, можно сказать вундеркиндом. И. пить начал задолго до совершеннолетия. Я помню, как после приблизительно пяти лет общения мы торжественно отметили Севино восемнадцатилетие.

Его карьера развивалась стремительно. В девятнадцать он стал самым молодым в СССР директором кинотеатра. А именно – кинотеатра «Комсомолец» – самого первого кинематографа в Ростове-на-Дону, помещающегося в красивейшем здании стиля модерн на главной улице города. Мы забежали в фойе и спрашивали у бабок-билетерш: «У себя?» И могли бесплатно посмотреть кинофильм. Но кинофильмы нас интересовали мало. В Севином директорском кабинете с огромным окном, за которым бежала улица Энгельса, мы распивали спиртные напитки. Забавно еще и то, что все в кинотеатре от сантехника до старушек-билетерш называли Севу на «вы» и Всеволод Эдуардович, а он всем тыкал и страшно матерился. Например, сидим мы у него, выпиваем. Открывается дверь, входит сантехник. В руке у него палка, на палке висят женские трусы, с которых течет вода.

– Вот, Всеволод Эдуардович, опять в бабском туалете трусы в унитазе застряли! Скока ж можно, Всеволод Эдуардович!

– Выйди, на хуй! – кричит Сева сердито. – Выйди, на хуй, немедленно! Зачем ты мне эту хуйню принес?!

– Так ведь засор, Всеволод Эдуардович!

Потом он работал администратором в областной филармонии и возил по районам концертные группы. Он надолго исчезал и появлялся неожиданно с крупной суммой денег. Его ждали.

– Сева не приехал?

– Уже, наверное, скоро приедет!

Когда он приезжал, начинался всеобщий праздник. Крупных сумм хватало ненадолго, и Сева снова отправлялся в сальские степи. Он как-то мухлевал с билетами, делал всякие приписки, и так успешно, что его даже чуть не посадили в тюрьму.

С родителями он жить, естественно, не мог и занимал в Доме Актера комнату. Из мебели там были кровать, стул и шахматная доска, превращенная в пепельницу. Всюду валялись рулоны непроданных билетов на концерты и самый разный мусор.

И в Доме Актера, и позже любое свое жилище Сева всегда приводит в гармонию со своим внутренним состоянием. Он исходит из концепции, что любая конструкция – суть напряжение, а равномерно распространенный хаос – абсолютный покой. В таком случае ему по душе покой. Хотя бы дома он может чувствовать себя покойно! Проще говоря, дома у него не то чтобы бардак, а такое, на что простому человеку не хватит воображения.

В Москву он переехал вместе с А. С. Тер-Оганьяном и В. Н. Кошляковым и долгое время жил с ними. Потом стал работать на телевидении и долгое время жил у нас с Олей. Потом жил один.

Сева – человек крайних взглядов. Свой радикализм он не только декларирует, но и подтверждает собственной жизнью.

– Что вчера было?

– В принципе, все нормально. Только Сева в ментов стрелял...

Он любит зверей и пауков, презирует людей и деньги. Еще он презирует вещи, скажем рубашки или обувь, и иногда их сжигает или разрывает. Вообще, в одежде он неприхотлив

настолько, что иногда с ним неловко идти по улице.

Он цинично выражается во всяком обществе и при дамах, носит с собой нож и револьвер-пугач. Ему бы саблю или лучше меч, но он же не идиот...

Он сверхначитан – единственный из моих знакомых, кто дочитал до конца «Иосифа и его братьев», «Исландские саги» и прочел большую половину «Улисса».

Да, еще он презирает женщин, но это само собой. При этом совсем недавно он, можно сказать, женился и девушку взял подозрительно нормальную.

Несколько раз он сходил с ума, но, к сожалению запретил об этом писать.

А так он умный и хороший человек. Я его очень люблю.

Когда у Всеволода Эдуардовича Лисовского костюм становится совсем грязным, он чистит его ножом. Как настоящий парень.

Авдей Степанович Тер-Оганьян и Сева Лисовский ехали в Ростов хоронить Васю Слепченко. Его убило током. Когда эта ужасная весть достигла Москвы, Авдей Степанович и Сева стали сильно горевать. Они горевали все время, потом пошли на вокзал, купили билеты, сели в поезд и продолжали горевать в поезде.

Утром Авдей Степанович проснулся рано, часов в десять и понял, что больше не уснет. Он поворочался, потом поднялся и вышел в коридор. По коридору, напевая сквозь зубы, ходил нечесаный Сева. Подошел к Авдею Степановичу и сказал мрачно:

– Допились, блядь! В десять часов стали просыпаться!

На дне рождения Авдея Степановича Тер-Оганесяна все сидели кружком. Посередине на табуретке стоял именинный пирог. Всеволод Эдуардович что-то рассказывал. Вдруг он напрягся и как блеванет прямо на пирог!

А однажды у Марины с Гошей все сидели, пили, а Сева спал в кресле-качалке. Вдруг он открыл глаза, качнулся да как блеванет прямо себе на грудь!

Оля спросила у Севы Лисовского, что такое паллиатив.

– Это когда кого-то следовало бы замочить, а его просто бьют. Недостаточная мера воздействия, – объяснил Сева.

Через несколько дней Оля опять его спрашивает:

– Сева, как это называется, я забыла... Ну, когда кого-то бьют, на букву «п»?

– Пиздюлина, что ли? – спросил Сева.

Однажды я и Сева Лисовский пили в анимационной студии, находившейся в большой старой церкви. Засиделись допоздна и легли спать. Я улегся на стульях, а Сева завернулся в какую-то матросскую шинель и уснул на бетонном полу.

Утром я стал его будить. Он долго не реагировал, потом спросил из-под шинели:

– Мы в ментовке?

– Не бзди, старик, – сказал я. – Мы в храме. Просыпайся!

АЛЕКСАНДР ВИЛЕНОВИЧ БРУНЬКО

Александр Виленович Брунько – великий поэт земли русской. Это явствует из эпичности фигуры и личности поэта, из внутреннего ощущения самого Александра Виленовича, из его стихов и частичной неменяемости их автора.

Брунько старше всех в нашей компании лет на десять-пятнадцать. Нам он достался по наследству от предыдущего поколения. Это бездомный, очень одинокий человек с собачьей жизнью, которую во многом он сам себе и устроил.

Нет, все не то, изыски, пустяки,

Искусство и не более – стихи.

Нет, слов таких язык мой не имеет,

Чтоб высказать, как сердце леденеет

Под этим синтетическим пальто!

В такой-то ветер! В такую полночь!

И ни единая не вспомнит сволочь!

Нет слов таких, и это все – не то!

До сих пор его можно встретить на углу улицы Энгельса и Газетного переулка – одном

из самых прохожих мест Ростова.

На заре Перестройки он успел год посидеть в тюрьме за нарушение паспортного режима, и если раньше тюрьма присутствовала в его творчестве опосредованно, как образ (Россия – тюрьма, СССР – тюрьма), то после освобождения стала отдельной темой, и стихи о тюрьме составили значительную часть книги с характерным названием «Поседевшая любовь».

С годами стихи Александра Виленовича обретали всю большую эпохальность: Тюрьма, Россия, Православие. Плюс периодически возникающий приазовско-донской колорит. И пафос, и замах, и глобальность обращений вполне уместны в определенном возрасте. Тем более что уже много лет Александр Виленович является глубоко пьющим человеком.

Я специально воздерживаюсь от цитат, но поверьте, Брунько – настоящий поэт, причем дело тут не в качестве стихов. Естественно, жить ему от этого не легче. Но он жив. Дай Бог ему здоровья!

Дом Актера. Ночь. По темному грязному коридору бредет Сева Лисовский, волоча за ноги пьяного человека Ника Володина. Он держит под мышками Никовы ноги в разбитых ботинках. Ник едет головой по бетонному полу, оставляя волосами след, как от метлы. Он спит. Он едет домой. Рядом с Севой шагает великий поэт земли русской Александр Виленович Брунько. Он выговаривает Севе:

– Сева, еб твою мать! Как тебе не стыдно! Ты что, не можешь взять его как-нибудь по-другому? Он же человек, а не хуй собачий!

Сева тянет Ника дальше, периодически повторяя:

– Саша, иди на хуй!

В Дом Актера к поэту Калашникову привели молодого поэта почитать свои стихи. Там у него все время рифмовалось слово «узда». Калашников послушал, стал что-то говорить. Случился тут же великий поэт земли русской Александр Виленович Брунько. Калашников его спрашивает:

– Ну а ты, Саша, что скажешь? Брунек подумал и говорит:

– Я знаю только одну рифму к слову «узда».

Поэт Мирослав Маратович Немиров читал поэтам Калашникову и Брунько свои стихи. А стихи у него, как известно, полны ненормативной лексики. Вот он почитал и стал ждать мнений. Калашников говорит:

– Ну что, стихи, безусловно, талантливые. Только вот неприятно, хуи во все стороны торчат.

А Брунек говорит:

– Тут Виталик какие-то хуи увидел, а я так нихуя не вижу!

Александр Виленович Брунько отсидел год в тюрьме за нарушение паспортного режима. Выйдя на волю, он поселился в Доме Актера. Появился он похудевший, аккуратно подстриженный. В поведении наметилась некоторая каторжанская жесткость, лагерная выправка.

В один из первых вечеров все сидели, пили. Кто-то стал жаловаться на жизнь: денег нет, все плохо... Суровый Брунек сказал:

– Нет денег? Укради! Ты же мужик!

Через две недели это прошло.

Великий поэт земли русской Александр Виленович Брунько издал книжку. Денег ему дал друг – расхититель социалистической собственности, с которым Брунько сидел в тюрьме. Книжка называлась «Поседевшая любовь». Все шутили: «Посидевшая любовь».

Отдыхали мы компанией в «Радуге», на воздухе. Брунько выпил свои два стакана и поник. А мы пили дальше. С нами сидел Лунев, сложно относящийся к евреям и вообще человек серьезный, задумчивый. Достал он книжку Брунько и говорит:

– Александр Виленович, я уважаю вас как поэта, как личность, мне интересно ваше творчество. Пожалуйста, надпишите книжку!

Брунько смотрит на него мутно, пытаюсь сообразить, чего от него хотят. Тот снова:

– Ну пожалуйста, Александр Виленович, я вас уважаю как поэта, как человека... – и так далее. Всего раза четыре.

Брунько наконец понимает, что от него требуется, с трудом поднимает руку. Ему в персты вкладывают стило. Он берет книжку.

– К-как звать?

– Вадим.

Бруnek медленно опускает руку на страницу, начинает криво писать: д-до-р-рро-го...

В это время Вася Слепченко ему кричит:

– Саша! Кому ты пишешь! Это же ярый антисемит!

Бруnek замирает, задумывается, хмурится, поднимает взор на Лунева. Его мысль напряжена. После некоторой борьбы он произносит:

– Ты ган... ты ган... ты ган... ты ганн-н-дон!

Книжку он так и не надписал.

Как-то летом Авдей Степанович Тер-Оганьян приехал в Недвиговку навестить Александра Виленовича Брунько и застал Сашу за приготовлением обеда.

Стоит Брунько у печки, на плите чудовищных размеров кастрюля, в которой кипит вода. А из воды торчит огромная свиная морда, вся, как в бакенбардах, в черной накипи. Бруnek сосредоточенно хлопочет:

– Так, еще немножко соли, перчику... так, лаврушечки... Садись, старик, сейчас будем кушать!

Авдей Степанович говорит:

– Спасибо, Саша, я из дому, пообедав.

Авдей Степанович с Брунько пошли к бабе Шуре за вином. Дело было летом в Недвиговке. Баба Шура усадила их за стол, налила по стаканчику, пододвинула помидоры. Бруnek взял стакан, стал пить. Тут мимо проковыляла, хрипя, индоутка. Бруnek поперхнулся.

– Блядь! – сказал он, прокашлявшись. – Чуть не блеванул!

Гуляли Авдей Степанович Тер-Оганьян и Александр Виленович Брунько по Недвиговке. Авдей Степанович нарвал с дерева абрикосов и стал есть. Спрашивает Брунько:

– Будешь?

– Ты что, старик! – говорит Александр Виленович. – Они же немытые!

Однажды противной ростовской зимой проснулись Авдей Степанович Тер-Оганьян и Александр Виленович Брунько с похмелья. Побежали взяли пива, зашли в сквер. Брунько говорит: «Все, не могу больше!» – открыл бутылку, приложился жадно и пьет. А мимо какие-то два маленьких ребенка с папой прогуливаются. Подошли к Брунько, головы задрали и смотрят. Папа им, глядя в сторону: «Пойдемте, дети! Видите, дядям жарко, дяди пьют водичку!»

А кругом зима, сугробы грязные, ветер дует...

Как-то раз проснулись Авдей Степанович Тер-Оганьян и Александр Виленович Брунько в Доме Актера, и стало им худо. Денег у Авдея Степановича нет, а у Александра Виленовича вообще ничего нет. В общем, беда. Стали думать. Брунько говорит:

– Старик, можно продать твои простыни!

– Саша, ну где мы их будем продавать!

– Как где? – говорит Брунько. – Ты что, старик? В столовой, конечно!

Великий поэт земли русской Александр Виленович Брунько говорит:

– Старик, дай мне рубль! Мне нужен рубль, чтобы выйти из запоя!

МИРОСЛАВ МАРАТОВИЧ НЕМИРОВ

Когда молодой Мирослав Маратович Немиров жил в Тюмени, в тамошней молодежке ему посвятили три статьи. Одна называлась «Бунт в тупике», вторая – «Протест против ничего» и третья – «Остановите Немирова!».

Мирослав Маратович Немиров – блестящий поэт и яркая личность. В молодости он даже постриг себе волосы в шашечку, чтобы выглядеть круче. Когда он трезвый – это милый, мягкий человек, когда он пьяный – это кошмар и ужас.

Мирослав Маратович Немиров собирал истории, которые можно было бы объединить под общим названием «Кто как усрался». Один его приятель, например, проснувшись ночью, наделал в открытую швейную машинку, головка которой была опущена. Он уселся в дырку,

приняв ее за унитаэ.

Самый же потрясающий случай произошел в одной компании, когда проснувшиеся после пьянки гости обнаружили, что одному из них, спавшему на животе, наложили на спину.

В новогодний вечер в Доме Актера у Авдея Степановича Тер-Оганьяна два поэта – Мирослав Маратович Немиров и Александр Виленович Брунько – спорили о литературе. В частности, об Александре Галиче. Оба были пьяные, и спор носил академический характер. Категоричный Немиров кричал, что Галич говно. Александр Виленович возражал, что нет, а говно как раз Немиров.

Тут-то и зашла в гости известная ростовская инакомыслящая Марина П. Праздник ей не понравился. Она шепнула Авдею Степановичу, что скучно и не пойти ли им к ней домой, чтобы за интеллигентной беседой и рюмочкой хорошего вина провести удивительную новогоднюю ночь. Только Брунька не брать. Авдей Степанович согласился и предложил зато взять Немирова.

– А кто это? – спросила Марина П.

– Ты что! – сказал Авдей Степанович. – Это известный поэт-нонконформист!

Вышли на улицу: погода ужасная – грязь, дождь со снегом. Мирослав Маратович, как человек воспитанный, говорит Марине:

– Давайте я вашу сумку понесу?

– Спасибо, – говорит Марина, – только, пожалуйста, аккуратно, у меня там рукописи.

– А чьи рукописи? – интересуется Немиров.

– Галича.

Немиров останавливается и говорит грозно:

– Что, блядь? Галича, блядь?! – Лезет в сумку, вытаскивает толстенную пачку – и по ветру! Все разлетелось – и в грязь. Марину П. едва удар не хватил.

После того как Мирослав Маратович расшвырял по улице Галича, о походе в гости к Марине П. не могло быть и речи. Она обиделась и ушла. А Мирослав Маратович с Авдеем Степановичем пошли по городу.

Зашли они в гости с Инге Жуковой, а там тихий семейный праздник: за столом сидит Инга с мамой, телевизор работает, елочка горит.

Усадили их за стол, налили водки, положили закуски. Они выпили по рюмочке, потом еще. Ингина мама говорит:

– Когда мы были молодыми, мы на праздниках не только пили. Мы общались, читали стихи...

Мирослав Маратович, как услышал, сразу говорит:

– Стихи? Запросто! Сейчас я почитаю! Влез на стул и начал:

– Хочу Ротару я пердолить!.. И так далее.

Выгнали их с позором.

Мирослав Маратович и Гузель сняли комнату с полным пансионом у повара из «Праги». В первое же утро они еще лежали в постели, когда в дверь деликатно постучали. Повар вкатил сервировочный столик с накрытым завтраком. В центре стояла бутылка водки. Втроем они позавтракали.

То же самое повторилось в обед. На ужин одной бутылки, по мнению повара, было недостаточно, и он выставил две. Втроем они поужинали. Наутро все повторилось. К сожалению, вечером после ужина с поваром случился удар, и его увезла «скорая помощь».

Однажды Мирослав Маратович Немиров проснулся с сильного похмелья и стал искать очки. Искал-искал – нет нигде! А Гузель как раз уехала в Тюмень. Мирослав Маратович разозлился и разбил тумбочку. А очков все нет! Да что ж это такое! Тогда он разбил сервант, вторую тумбочку и сломал стул. Нет очков! Да что за дела! Тогда он совсем разозлился, переломал всю оставшуюся мебель и разбил телефон. Комнату, кстати, они снимали, и мебель была хозяйская.

Спустя время опять проснулся, посмотрел вокруг, и стало ему страшно. Оделся он и ощупью кое-как добрался до Трехпрудного. Лег на пол и заплакал.

Дня через два вернулась Гузель. Разыскала Немирова, села напротив него грустная.

– Ну купим мы им новую мебель! – говорит Немиров в отчаянии.

– Купим, – говорит Гузель. – Но скажи мне, зачем ты по двору без трусов бегал?

Как-то Мирослав Маратович засиделся в гостях у Авдея Степановича Тер-Оганьяна, и Гузель стала звать его домой. Тогда он стал в нее плевать. Но Гузель предусмотрительно встала подальше. Тогда Немиров стал брать со стола журналы, плевать на них, а потом уже журналы бросать в Гузель.

Однажды в гостях у художника Дмитрия Врубеля Мирославу Маратовичу стало плохо. Врубель, которому было хорошо, стал помогать ему блевать. Он принес тазик и, стоя перед Немировым на коленях, засовывал себе пальцы в рот, приговаривая: «Слава, делай так – бэ-э-э! бэ-э-э!» А потом попытался засунуть свои пальцы в горло Мирославу Маратовичу.

Однажды утром на Трехпрудном Дик подошел ко входной двери и залаял. Сонная Вика пошла посмотреть, не пришел ли кто в гости. Из-за двери раздавался ответный лай. Вика осторожно приоткрыла дверь и выглянула. Там на четвереньках стоял Мирослав Маратович Немиров.

СЕРГЕЙ КАРПОВИЧ НАЗАРОВ

Сергей Карпович Назаров был писатель. Он был писатель с самого юного возраста и всегда выглядел как писатель: ходил по дому в шлепанцах, «собирал библиотеку», был толстоватым, с полными белыми руками в рыжих веснушках. У него единственного была печатная машинка, а также множество папок с рукописями и «архивом». Как у всякого писателя, на станции у него украли чемодан с рукописями. Во всяком случае, он так говорил, и это послужило поводом к серии серьезных пьянок.

Он был вальяжным, а поскольку происходил «из обеспеченной семьи» и хорошо питался, его барские замашки выглядели естественно. Правда, иногда они незаметно переходили в хамство, но это хамство в основном относилось к посторонним. Друзей он любил и был душевным человеком. Правда, кое-кто на него все-таки обижался. А я однажды с ним даже поссорился. Вернее, это он со мной поссорился, и два года мы не разговаривали. Но об это позже.

Мама Сергея Карповича – Раиса Петровна – работала директором вагона-ресторана фирменного поезда Ростов-Москва «Тихий Дон», поэтому в доме у Назаровых было очень красиво: ковры, хрусталь. Даже стены в коридоре были обиты красивым индийским линолеумом. У них имелся журнальный столик на чугунных ногах со столешницей «под искусственный малахит», выполненный в стиле барокко начала восьмидесятых, и тяжелый торшер, тоже на чугунной ножке. Как-то глубокой ночью именно этим торшером Авдей Степанович Тер-Оганесян отбивался от обезумевшего Назарова, который, в свою очередь, пытался его задушить.

Вообще Назаровы жили зажиточно. У них всегда можно было поесть копченой колбасы и попить растворимого кофе. Эти два продукта сегодня утратили свою избранность и уже не ценятся так нынешней интеллигентной молодежью. Тогда все было иначе.

Но иногда Назарова одолевала скупость. Однажды Авдей Степанович, Батманова и еще кто-то забрели к нему с утра в надежде похмелиться и, возможно, позавтракать. Назаров был мрачноват, он работал. Это с ним периодически случалось: «Я работаю!» Мог и в дом не пустить. Это раздражало. Ну работаешь, что ж теперь? К тебе люди пришли!

В общем, он встретил друзей неприветливо, напоил пустым чаем, правда индийским, другого в доме не держали. Авдей Степанович справился насчет поесть.

– Нету ничего! – сказал Назаров.

– Что нету? Ну макарончиков сварил!

– И макарон нету! – сказал Назаров. – Кончились.

Все ошарашенно замолчали, возникла пауза. И тут дверь буфета сама по себе отворилась и оттуда тонкой струйкой потекла гречневая крупа! Мыши прогрызли дырку в маменькиных запасах!

Раиса Петровна перешла с «Тихого Дона» на поезд Ростов-Ереван и привозила из поездок настоящий армянский коньяк. Как-то я застал Сергея Карповича в приподнятом настроении. Идем к нему в комнату: на чугунном столике заварной чайник, сахарница, лимон на блюде,

чашка с ложечкой. Уселись, Назаров хитро подмигивает, лезет в швейную машинку и достает початую бутылку «Ахтамара». Наливает мне в чистую чашку и в свою добавляет. Сидим, пьем чай, лимоном закусываем.

– Где взял? – спрашиваю.

– У мамы украл, – говорит Назаров. – Она пять бутылок привезла, я уже две украл. Ничего не могу с собой сделать, сижу один и пью. Хорошо, что ты зашел.

Вдруг входит папа – Карп Сергеевич.

– Чай пьете? – Понюхал воздух и говорит мне вежливо, но с напряжением: – Максим, я заметил, как ты приходишь, вы с Сергеем обязательно выпиваете. Если ты приходишь только для этого, то лучше не приходи.

Я смутился:

– Почему только для этого, Карп Сергеевич, – говорю, – не только для этого...

С Назаровым было замечательно пить до тех пор, пока он не напивался. Слава Богу, в бодром состоянии он мог находиться довольно долго. Пьяный же Назаров был неудобен по двум причинам: он любил мериться силой с малознакомыми людьми и весил более восьмидесяти килограммов.

Как-то Назаров дал мне почитать свои рассказы. Они лежали в красной картонной папке с веревочными завязками. Рассказы я прочитал сразу, но отдать ему рукописи все как-то не получалось. Папка пролежала у меня больше месяца. Когда наконец я собрался вернуть ее и открыл, чтобы проверить содержимое, то обомлел: внутри лежала горсть сгнивших вишен! Страниц двадцать бесценной назаровской прозы прогнили насквозь. Как выяснилось, пятилетняя Варечка решила таким образом заготовить на зиму сухофрукты.

Делать было нечего, я взял папку под мышку и понес Назарову. Когда Сергей Карпович увидел, что случилось с его творениями, он покраснел, надулся и ушел. А на другой день при встрече не подал мне руки.

Я, если честно, слегка обалдел. Мололи с кем что бывает! Вообще, в нашей компании в то время обижаться было не принято. Я подумал: «Ладно, черт с тобой!»

Два года мы не разговаривали и почти не виделись. Хотя мне его очень не хватало. Да и ему меня тоже.

Потом погиб Вася Слепченко, и над свежей могилой красный, заплаканный Назаров упал в мои объятия.

– Макс! Давай помиримся! – сказал он сквозь рыдания. – Васька умер! Все, блядь, помрем...

Я тоже плакал, и мы целовались. Как и положено у писателей, мы помирились над могилой друга. Уже нет самого Назарова...

P.S.

4 августа 1995 года мы с Олей приехали к теще в Мариуполь и наутро пошли на переговорный пункт звонить в Ростов моим родителям. На переговорном было пусто: бабка, торгующая жетонами, мы с Олей и какая-то пара, пытающаяся дозвониться в Москву. Нас соединили довольно быстро, и мама сказала мне: «Ты знаешь, вчера убили Сережу Назарова...»

Мы вышли из будки в шоке: Оля плачет, я, в общем, тоже... Слышим – бабка-жетоница говорит той, второй паре:

– Звоните, звоните, что вы ругаетесь! Вот же люди дозвонились, поговорили – выходят довольные!

Сергей Карпович Назаров периодически бросал пить. К нему, бывало, зайдут, он говорит: «Я не пью!» И его больше не беспокоят.

Как-то собрались в «Ракушку». Пересчитались – вроде все.

– А Назарова звали?

– Он сейчас не пьет.

Ну ладно. Спускаются все на набережную, заходят в «Ракушку» и видят: за пустым столиком, уронив голову на руки, спит Сергей Карпович. Разбудили его. Поднял он голову, открыл глаза и говорит ворчливо:

– Я тут с утра сижу, хоть бы одна жопа зашла!

Когда Сергей Карпович Назаров приехал домой на каникулы с высших сценарных курсов,

то сразу на радостях загулял.

Через пару дней, проснувшись на удивление у себя дома, он обнаружил на двери приклепленную конфетную коробку, на которой его папой было написано: «Сергей! Если ты приехал пить, то убирайся по-хорошему! Карп».

Сергей Карпович, выпивши, гулял с друзьями по старым ростовским улочкам. Был вечер, и у выставленных помойных ведер в ожидании мусоровоза курили мужики. Рядом лежал гнилой арбуз. Назаров как даст по нему ногой! Арбуз разлетелся вдребезги, так что забрызгал всех вокруг, в том числе и мужиков. Тогда один мужик подошел к Назарову и как даст ему по морде!

У Сергея Карповича Назарова в прихожей, как раз напротив двери, для красоты были прибиты олени рога. Когда он приходил домой пьяным, то часто падал с порога и разбивал о них очки. Если же он пытался управлять падением, то натыкался на чугунное изображение Икара с расправленными крыльями, что было еще опасней.

Однажды в вытрезвителе на улице Семашко произошла трогательная сцена. На крутой лестнице, ведущей в казематы, встретились два друга: Сергей Дамбаян и Сергей Назаров. Встретившись, они обнялись и расцеловались. Потом каждый пошел своим путем: Дамбаян на волю, к свету, а Назаров во мрак темницы.

Однажды Назаров всем так надоел, что его решили отдать маме. Случай, в общем, беспрецедентный. Обманом завели его в родной двор, поставили перед дверью, позвонили и спрятались. Раиса Петровна вышла и увидела сына.

– Сергей! – сказала она. – Немедленно иди домой!

Назаров уже сообразил, что влип, и, поскольку говорить особенно не мог, стал объясняться знаками. То есть отрицательно покачал головой.

– Иди домой немедленно! Не позорь меня! – настаивала Раиса Петровна. И сделала шаг к сыну. Тогда Назаров показал ей дулю, с трудом развернулся и медленно, неуклюже побежал через двор, увязая в сугробах. Потом он упал. Пришлось всем вылезать из засады и помогать нести его в дом.

Как-то в квартире Назарова раздался звонок. Раиса Петровна пошла открывать. Перед крыльцом стояли Авдей Степанович Тер-Оганьян, Василий Рудольфович Слепченко и Игорь Гайкович Давтян.

– Добрый день! – сказал Авдей Степанович. – А Сережа дома?

Раиса Петровна посмотрела на них и сказала, качая головой:

– Взрослые люди!..

Утром звонит Сергей Карпович Назаров Авдею Степановичу Тер-Оганьяну.

– Ой, – говорит, – мне так плохо! И самое ужасное, что я не могу найти очки!

– Зачем тебе очки? – говорит Авдей Степанович. – Похмелись и ложись спать!

– Дурак! Без очков я не могу найти деньги!

В Москве Назаров делал неоднократные попытки бросить пить. Даже посещал психотерапевта. Несколько месяцев его не было видно, звонить же стал исключительно по делу. И вдруг звонок.

– Але, – говорю.

– Алеу!

– Привет, – говорю, – что это у тебя такой голос?

– Купи пачку «Стюардессы» и приезжай общаться! Вот, думаю, тебе и лечение!

– А водки купить?

– Водка есть.

Я обрадовался, и мы с Олей поехали в Коломенское.

Звонить пришлось долго. Сначала никто не открывал, а потом с той стороны двери послышалось царапанье. Минут через десять заскрежетал замок, и дверь медленно открылась. На порогах стоял опухший Назаров в майке.

– Ты спал, что ли? – спросила Оля.

Безмолвно улыбаясь, Назаров стал пятиться, пятиться через коридор, через комнату, пока не опрокинулся на тахту...

В коридоре валялся знаменитый серый пиджак с кинематографическими следами подошв

на спине. На кухонном столе стояла трехлитровая банка с тушенкой и две литровые бутылки «Столичной», одна из которых была практически пуста. Мы с Олей немного выпили, поели тушенки и через час уехали домой. Входную дверь мы захлопнули.

Однажды Назаров проснулся без очков. Ну, думает, слава Богу, очков нет, значит, я дома. Открыл глаза и увидел синее небо с белыми облаками.

Однажды зимним вечером на ступеньках у двери моего подъезда я обнаружил лежащего человека. Некто в драповом пальто и нутриевой шапке спал, свернувшись калачиком. Его уже припорошило снегом. Присмотревшись, я узнал в спящем Сергея Карповича Назарова.

Никто из нас не допивался до белой горячки. Слава Богу! Правда, у Гоши росли копыта. За Асатуровым по дому гонялась живая рыба. Авдею Степановичу, когда он ехал в поезде, несколько часов пела невидимая тетка. С Брунько разговаривал будильник, причем стихами. Вот и Назаров как-то говорит:

– Какие черти? Никаких чертей ни разу не было. Правда, один раз собака по комнате ходила. Даже, собственно, и не ходила. Я лежу на диване, а она просто вошла в комнату, прошла и вышла...

ВАСИЛИЙ РУДОЛЬФОВИЧ СЛЕПЧЕНКО

Васенька говорил, что его предки якуты. Это не мешало ему быть высокого роста, художником, интеллигентным человеком и Рудольфовичем по отчеству. Он носил круглые очки и курил папиросы. Любил шутить и говорить «Дж-ж-ж!». Например: «Я полгода не пил, не пил, а на Новый год ка-а-ак на-е-бе-нил-ся! Дж-ж-ж!»

Он действительно время от времени на несколько месяцев бросал пить и даже курить. Совершенно непонятно зачем. А потом опять начинал. Был склонен к философствованию и сочинил три стихотворения.

Когда Авдей Степанович Тер-Оганьян и Валерий Николаевич Кошляков уехали в Москву, он отправился за ними и поселился в Трехпрудном. Но все было непросто. Он перестал заниматься живописью, делал натюрморты на продажу. На все приставания Авдея Степановича что-нибудь придумать посмеивался. Он выдумал Фому и всем про него рассказывал. Вокруг все пили, а Вася стал запираться и пить один. Потом приходил к Авдею Степановичу и говорил: «Сейчас бухнули с Фомой».

Он говорил, что пишет дневник и там про Фому и про смысл жизни. И еще говорил, что Васи скоро не будет, а будет только Фома.

Потом он уехал в Ростов к жене, а оттуда в Таганрог к маме. 11 октября 1991 годами встретились в Танаисе между Ростовом и Таганрогом, ровно посередине, на свадьбе у Тимофеева и Вики. Это был последний раз, когда я видел Васю. 20 октября в Ростове он что-то сверлил, и его убило током.

Время проходит, и привыкаешь к отсутствию человека, потом двух, трех... На самом деле ни к чему не привыкаешь. Иногда вспомнишь и плачешь.

Вечером 31 августа Авдей Степанович Тер-Оганьян и Вася Слепченко оказались возле какой-то школы и подумали: завтра первое сентября, дети пойдут на уроки, там они будут страдать. А если разбить окна в классах, то занятия не состоятся, и детям будет радость. Они насобирали камней и поразбивали стекла во всех окнах второго этажа.

Однажды в художественных мастерских на Университетском у Валерия Ивановича Кульченко был праздник. Принесли два рюкзака «Алазанской долины» и стали ее пить.

Вася Слепченко захотел показать всем кружочки от банок на своей спине. Он порвал рубашку, потом майку и показал. Праздник продолжался. Время от времени кто-нибудь кричал: «Кружочки!», и Вася показывал.

Было очень весело. Звонили в корабельный колокол, бросали с третьего этажа чугунную гирю. Юрий Леонидович Шабельников пел красивым голосом казачьи песни, а старый Валерий Иванович Кульченко стоял перед ним на коленях и плакал.

ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ШАБЕЛЬНИКОВ

Шабельников все время шутит. Он шутит, шутит, шутит, а когда не шутит, то иронизирует. Потрясающего остроумия человек. Он практически не пьет и с алкоголизмом знаком по наблюдениям. Благо есть кого наблюдать.

Юрий Леонидович – гениальнейший художник в смысле колористической живописи, но сейчас эпоха требует от художника несколько иного, и он старается соответствовать.

В молодости, когда мы все учились в Ростовском художественном училище, Юрий Леонидович был заметной фигурой. Он носил ситцевые рубашки навыпуск, коротковатые отечественные джинсы из «шахтинки», сандалии на босу ногу и курил «Беломор». Он говорил, затягиваясь: «Хорошая папироса, жирная!» – и кашлял, взбрыкивая головой. И шутил, и иронизировал...

Однажды я, Юрий Леонидович Шабельников и наш друг Боря приехали в станицу Дубовка на оформительскую практику. Когда у нас кончились деньги, мы ловили голубей, убивали их и жарили на костре. Один раз Юрий Леонидович украл гуся. Но иногда хотелось чего-нибудь приготовленного. У Юрия Леонидовича была зеленая вельветовая куртка с просторными, от самой груди, карманами. Однажды в местном кафе, куда мы зашли поест супа, он не выдержал. Пользуясь отсутствием повара, Шабельников стал красть котлеты. Он хватал их через прилавок из огромной кастрюли и совал, горячие и жирные, в свои просторные вельветовые карманы. Он успел украсть примерно пять котлет.

Юрий Леонидович Шабельников очень любит музыку. Он может петь на двадцати языках мира. В станице Дубовка с местным ВИА он разучил несколько новых песен. Каждую субботу и воскресенье он пел на танцах и имел успех.

Но на этом он не остановился. Его беспокоила судьба отечественного рока. Юрия Леонидовича не устраивало качество поэзии.

Он положил на музыку несколько стихов Мандельштама, кое-что из Ахматовой. И тогда над притихшей Дубовкой по вечерам стало раздаваться:

Есть иволги в лесах! Тум-дум, тум-дум!

И гласных долгота! Тум-дум, тум-дум!..

В мастерской Юрия Леонидовича Шабельникова пили несколько художников. Сам Шабельников, практически непьющий, сидел просто за компанию. Наконец все выпили, стали собирать деньги. Насобирали рубля три. Шабельникова послали за вином. Его долго не было, наконец возвращается.

– Ну? – спрашивают его.

– Да там вино было совсем плохое, – говорит Юрий Леонидович, – я вот повидла купил.

Юрий Леонидович умеет говорить по-английски. Однажды к Валерию Николаевичу Кошлякову пришли иностранцы смотреть картины, на которых автор изобразил московские просторы. Иностранцы посмотрели и спрашивают:

– А это что за здание нарисовано? Кошляков по-английски не умеет, а Юрий Леонидович не растерялся и говорит:

– Министерши оф инострэйшн... – И замялся. Авдей Степанович Тер-Оганьян подсказал:

– Делейшн!

ИГОРЬ ГАЙКОВИЧ ДАВТЯН

Давтян по призванию был организатором досуга. Его основное занятие в жизни – устройство пьянок. Во-первых, потому что делать ему было абсолютно нечего, во-вторых, потому что это ему очень нравилось, а в-третьих, потому что, не имея таланта, он обладал умом, а значит, пить ему было гораздо веселее, чем не пить.

Он владел исключительной способностью к убеждению и мог уговорить кого угодно. В самые мрачные антиалкогольные годы он ухитрялся брать без очереди. Другого за это убивали, а он как-то пристраивался и брал, не обращая внимания на возмущенный вой. «Главное – изгнать чувство вины, – говорил Давтян. – Толпа чует вину, как собака чует запах страха. А если вины нет, значит, все в порядке, значит, человеку надо».

Я несколько раз пытался повторить его фокус и не мог. Какие бы честные глаза я ни делал, как бы ни копировал его тактику, меня безжалостно выбрасывали из очереди.

Однажды пьяный Давтян уговорил машинистов, и те повезли их с Пашей Пипенко в Ленинград. Проснулись они в задней кабине тепловоза где-то под Харьковом. Поезд стоял на семафоре. Они вылезли в окно, дошли до ближайшей станции, похмелились, а там Давтян опять уговорил машинистов, и их повезли обратно в Ростов.

Ночью 26 сентября 1993 года он ехал из гостей в такси. На площади Звезды произошла авария. Все остались живы, кроме Давтяна.

Оля, Давтян, Марков и Ирина Михайловна отдыхали на море. Как-то вернулись они с пляжа, Давтян с Марковым пошли за вином. Потом прибегает Давтян и говорит Оле:

– Дай шесть рублей!

– Зачем?

– Тогда хватит ровно на тридцать одну бутылку «Гадрута»!

– А двадцати восьми не хватит? – спрашивает Оля.

– А о завтрашнем дне ты не думаешь? – говорит Давтян.

Давтян ночью поймал машину.

– Гвардейская площадь!

– Садись.

– А бить не будете?

– С чего бы это? – говорят. – Садись, не бойся! Приехали. Давтян говорит:

– Спасибо, ребята! – и вылезает.

– Э! – говорят ребята. – А бабки?

– Ну вот! – говорит Давтян. – Я же вас спрашивал!

Вечером Давтян уходил от Риты.

– Ты куда? – спросила Рита.

– По делам, – сказал Давтян.

– Только вернись пораньше! – попросила Рита. Часов в пять утра Риту разбудил звонок в дверь. На пороге стоял пьяненький Давтян.

– Игорь, я же просила пораньше! – сказала Рита.

– Куда уж раньше! – сказал Давтян.

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АВГУЧЕНКО

Полноватый лысеющий еврей Сергей Анатольевич Августенко – художник-керамист, романтик и человек нелегкой судьбы. В юности он отбыл трехлетнее наказание «на химии» за ограбление и сопротивление при аресте. Дело было так: вечером, гуляя в нетрезвом состоянии по аллеям ростовского парка имени Горького, Августенко с приятелем нашли на скамейке спящего человека. Когда приятель принялся снимать со спящего часы, тот проснулся и закричал: «Караул!» Прибежали милиционеры, схватили приятеля, а заодно и Августенко, пытавшегося объяснить свою непричастность к безобразному происшествию. Но его не стали слушать, а стали заламывать руки. Тогда Августенко стукнул ближайшего милиционера по голове томиком О. Генри.

Сейчас он уже не Августенко, а господин Фейгин и живет в Израиле. Вскоре после переезда он как-то позвонил поздней ночью. Судя по голосу, был изрядно пьян, долго с увлечением рассказывал, что пьет уже неделю и пропил шестьсот долларов. На вопрос о работе задумался и сказал, вздохнув: «Пока не работаю. Ты знаешь, здесь очень напряженная жизнь!»

Однажды в «Балканах» Давтян познакомился с девушкой Катей. Через несколько дней все шли к Августенко пить и по дороге встретили Катю. Давтян говорит:

– Пошли с нами!

– Я вообще-то на базар за капустой... Однако уговорили.

Пришли к Августенко. А жил он в квартире своего дедушки, и от дедушки осталась куча старинной посуды.

Вот они сидят, а на столе стоит удивительная сахарница.

– Ой, – говорит Катя, – какая прелесть! Давтян говорит:

– Покупай!

- А сколько стоит?
- Пять рублей!
- Почему пять?
- Ну, – говорит Давтян, – три мало, десять много.
- Покупаю!

Авгученко берет сахарницу и высыпает из нее сахар в удивительную супницу.

- Ой! – говорит Катя. – А супницу не продадите?
- Двенадцать рублей! – говорит Давтян. Августенко спрашивает:
- А серебряные ложки не возьмешь?

Катя и ложки купила. Августенко растрогался, притащил огромный куст алоэ в кастрюле.

- Это тебе бесплатно, – говорит. – От фирмы.

Однажды купили вина и решили идти к Августенко. Августенко жил в коммуналке, и его соседка Лера все время скандалила из-за постоянных пьянок. Поэтому он говорит:

- Ладно, пошли ко мне. Только будем пить тихо, а то Лера дома.

Пришли, уселись, стали тихо пить. Оле нужно было отлучиться на полчаса. Когда она вернулась, то застала такую картину: с пластинки орет хор: «Так вперед, за цыганской звездой кочевой!» Все сидят на стульях вокруг стола, топают ногами, хлопают в ладоши и кричат: «На-на-най! На-на-на!..» А на столе, распикивая ногами тарелки с закуской, голый по пояс Августенко пляшет цыганочку.

Сергей Августенко и Николай Дубровин нашли на улице спящего человека и решили, что ему плохо.

– Я читал, – сказал Августенко, – что, чтобы привести человека в чувство, нужно потереть ему уши.

Он наклонился и стал тереть. Человек пришел в чувство, подумал, что Августенко грабитель, и прокусил ему палец до кости.

Однажды, когда Августенко лечился от алкоголизма, у Марины на Кировском был праздник. Набрали разнообразных напитков, в том числе одну бутылку коньяка. Спрашиваем Августенко:

- Ты пить будешь?
 - Нет, – говорит он, – я не буду, я же лечусь. Ну, может быть, коньяка немного выпью.
- В итоге он всю бутылку сам и выпил.

Я же, напившись, поссорился с Олей и оторвал у ее сумки ремешок. Оля обиделась и утром отправилась с Августенко к его маме завтракать.

Пришли, Елена Марковна накормила их фаршированными перцами и спрашивает:

- Сережа, ты, надеюсь, вчера не пил?

– Нет, – говорит Августенко. – Я попробовал немного шампанского, и чего-то стало так противно! Наверное, лечение уже сказывается. Ты не могла бы пришить Оле ремешок к сумке, а то Макс вчера напился и оторвал?

Елена Марковна пошла пришивать, а Оля ему говорит:

- Какая же ты свинья! Зачем было говорить, что это Макс оторвал, да еще напившись?
- Я матери никогда не вру! – сказал Августенко.
- Что ж ты ей тогда про коньяк не рассказал, раз такой честный?

Авгученко надулся и говорит:

- Это разные вещи!

Однажды я, Давтян и Щербуняев проснулись на Кировском. Деньги накануне кончились, и Давтян сразу позвонил Августенко. Тот пообещал прийти и через полчаса появился.

- У меня нет денег, – говорит Августенко, – но мама обещала купить мне брюки и ботинки.
- Позвонил он маме и говорит:

– Тут в ЦУМе продаются туфли, «Саламандра»... да... да... двести рублей... сейчас я зайду за деньгами, – и положил трубку.

- Э! – говорит Давтян. – А брюки?

– Мне мать жалко, – сказал Августенко. – Сейчас все такое дорогое!

Давтян говорил о Паше Пипенко: «Паша не друг, Паша – родственник». Это правда. В друга Паша вырос из одноклассника: они с Давтяном учились в одном классе. Он не читал книг, не писал стихов, не был художником и божественной личностью. Он был, что называется, «крестьянский сын». Изначально с остальными его роднила любовь к алкогольным напиткам.

Шли годы. Он стал родным и преданным компании. С нами его связывала не духовная близость, а душевная: он был просто хорошим человеком, прибившимся к коллективу. Ему хотелось простых вещей: он строил дом и мечтал жениться. Жалко, что он умер холостым.

Большую часть сознательной жизни он проработал грузчиком на Центральном ростовском рынке и был сильным, как иттангист. Его смерть – столь же нелепа, как все смерти: он с другом выпил, но не сильно. Ему стало плохо. Вызвали «скорую». Врачи определили высокое давление, сделали укол. Ночью друг проснулся от того, что в доме выла собака. К тому времени Паша уже остыл. Видимо, ночью он встал, ему опять стало плохо, он упал и головой ударился о радиатор отопительной батареи. И умер. Так и непонятно от чего: от давления или от разбитой головы.

Его могила на кладбище самая пронзительная: аккуратная крестьянская могила с засохшим букетом в нелепой мраморной вазочке. С фотографии улыбается молодой, очень здоровый Паша.

Давтян с Пашей Пипенко сидели в баре в «Балканах», а наверху в ресторане шла свадьба. Давтян говорит:

– Пошли туда. Там все уже пьяные. Родственники невесты подумают, что мы со стороны жениха, а родственники жениха, что мы со стороны невесты.

Так все и вышло. Идет свадьба, все пляшут, за столом свободных мест полно. Сели они, выпили, закусили.

Вдруг танцы заканчиваются, все рассаживаются по местам, тамада берет микрофон:

– А сейчас, дорогие гости, поздравим Танечку и Андрея! Поможем им начать семейную жизнь! – вылезает из-за стола, берет поднос и начинает обходить сидящих. Все по очереди поднимаются, кладут на поднос деньги, желают счастья.

– Блядь! – говорит Давтян. – Рано пришли!

А тамада уже к ним подбирается. Подходит со стороны Паши. Деваться некуда. Паша встает и говорит солидно:

– Мы с Игорьком дарим Танечке и Андрею шифоньер!

Все заплодировали, а Паша стал обсуждать с мужиками, как лучше перевезти мебель.

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ

Вспоминая тех и этих, я вдруг подумал, что из всех нас Тимофеев был самым хорошим человеком. Я имею в виду не таланты, а человеческие качества. С талантами у него все обстояло нормально, но таланты – дело особое, и проблемы, с ними связанные, – отдельные проблемы.

Пьяный Тима ходил по комнатам на четвереньках и хватал за ноги незнакомых девушек. При этом его нежная душа светила сквозь глумливую ухмылку, как его же пятка сквозь дыру в носке.

Он был открытым, беззащитным и великодушным. И безотказным в общении. Поэтому часто общался с идиотами и неприятными людьми, понимая, что это идиоты и неприятные люди.

Он, разумеется, пил. Мог проснуться, например, в столовой, на раздаточном столе, разбуженный дребезжаньем скользящих мимо подносов с салатами. Или на верхней полке поезда, который мчится в ночи...

Он делал все одновременно – сочинял песни, пел их, писал прозу и холсты. К сожалению, он не успел определиться, и поэтому ничего толком не осталось.

Его застрелили на улице. Просто так, ни за что, у коммерческого киоска под «Московскими новостями», в час ночи 29 мая 1993 года. Выстрелили ему в живот. Пуля разрушила несколько важных внутренних органов, повредила позвоночник. Врачи говорили, что

он не сможет ходить, и мы почти уже привыкли представлять его в инвалидном кресле, когда 5 июня в Склифосовского он все-таки умер от перитонита.

Его похороны были самыми шумными из всех предыдущих и последующих. Истерика длилась больше недели.

Во дворике морга все топтались больше часа, пили водку для храбрости и нервно шутили. Потом двери лифта открылись, оттуда в огромном, длинном, зеленом гробу выехал Тимофеев, и всем стало страшно.

Затем были рыдания, поп, дождь и раскисшая глина на кладбище в Ракитках, опять рыдания, хохот и танцы. Безумный Касьянов привез откуда-то огромные колонки, и неделю над Трехпрудным гремел «Пекин Роу-Роу».

Раннее утро на Трехпрудном. Я лежу в постели, Оля собирает Варю в школу. Открывается дверь, в Викином зеленом пальто на голое тело входит улыбающийся Тима. Ложится ко мне в постель, закуривает, тычет в меня пальцем и говорит:

– Варечка! Это не твой папа! – показывает на себя. – Я твой папа!

Сергея Тимофеева после запоя друзья решили отправить в Донецк к одному приятелю – отодохнуть, прийти в себя. Тима потом рассказывал:

– Отправляли меня никаким. Просыпаюсь: ночь, сижу я в каком-то автобусе, рядом спит мужик, тишина, а на черном небе огромными красными буквами написано: АНТРАЦИТ. Ну, думаю, допился...

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ

Коля Константинов, или Кол – художник, музыкант и безумец. Он учился в Ростовском художественной училище имени Грекова одновременно со мной, Авдеем Степановичем, Васей, Шабельниковым. И стал авангардистом. Как-то на выставке журналист спросил его:

– Что вы хотели сказать своей картиной «Боевой слон»?

Коля подумал и сказал:

– Нормальная картина. Обыкновенный боевой слон.

В «Пекин Роу-Роу» Кол играл на губной гармошке и самодельном инструменте – к мундштуку от блок-флейты он приделал кларнет. Или наоборот, к мундштуку от кларнета приделал блок-флейту. И до сих пор активно музицирует. Еще он занимается резьбой по дереву – делает всякие украшения, красивые курильницы для благовоний и декоративные ножи для ритуальных убийств. Николай Константинов – очень яркая, неординарная личность. Их отношения с женой Викой – тоже очень яркой и неординарной личностью, заслуживают отдельной книги. Когда все перебирались в Москву, Коля не поехал. Может быть, напрасно, а может, и нет. Сейчас, по рассказам, он живет в Ростове на Нахаловке в двух комнатах, снаружи увитых виноградом, и является чуть ли не последней мифологической фигурой нашего поколения.

Художник Николай Константинов увлекся резьбой по дереву. Накупил всяких инструментов, в том числе несколько отличных топоров. А человек он во хмелю буйный. Бывало, придут гости, выпьют немного, он сразу давай топоры показывать: смотрите, какие острые! Гости говорят: «Хорошие у тебя, Коля, топоры», – и стараются незаметно запихнуть их ногой поглубже под диван.

Однажды Коля поссорился с женой. Она убежала на улицу, а он достал топоры и принялся рубить домашние вещи. А время было холодное. Вот стоит Вика на улице в халатике и плачет.

Подходят молодые люди.

– Что случилось, девушка?

Она рассказала.

– Ну, – говорят молодые люди, – это ерунда. Сейчас мы его успокоим. Какая, говорите, квартира?

И пошли. Через пять минут вернулись, извинились и ушли по своим делам. Коля потом рассказывал:

– Рублю я пальто. Чувствую спиной – от двери какая-то агрессия надвигается, какое-то зло. Я топоры наизготовку и поворачиваюсь к двери! А там темно, не видно нихуя! Но

чувствую – агрессия отступает, отступает...

Постояла Вика, постояла и пошла ночевать к Диме Келешьяну. Утром Дима побежал посмотреть, как там Коля.

Входит: дверь нараспашку. Посреди комнаты на груде порубанного барахла спит Коля – руки раскинул, в каждой по топору зажато. Проснулся, увидел Диму, улыбнулся: «А, Димка! А я всю ночь рубил, рубил, заебался!»

В Ростове проходил рок-фестиваль. На одном из концертов Коля Константинов так напился, что стала милиция его винтить. Все сбежались, говорят милиционерам:

– Отпустите его, он не пьяный! Милиционеры говорят:

– Ладно. Ну-ка, присядь!

Коля присел, а встать уже не может. Ему помогли. Он стоит, улыбается. Милиционеры спрашивают:

– Как тебя зовут?

Коля молчит. Смотрит по сторонам и улыбается. Все вокруг шепотом ему подсказывают:

– Коля, Ко-ля, Ни-ко-лай! Милиционеры говорят:

– Понятно!

Взяли его под руки, посадили в коляску своего милицейского мотоцикла и улыбающегося увезли в вырезвитель.

ВЛАДЛЕН ВЛАДЛЕНОВИЧ ЛЕБЕДЕВ

Владлен Владленович Лебедев – московский Борхес. Человек, образованностью могущий сравниться только со Всеволодом Эдуардовичем Лисовским. О нем трудно писать, с ним нужно общаться. Невозможно передать на бумаге силу этой личности. Вот уж действительно, матерый человечик!

Он толстый, скорее даже пузатый. Лысый, с бородой. У него не хватает нескольких передних зубов. Зато один из сохранившихся резцов растет не сбоку, как положено, а ровно посередине.

Лебедев говорит:

– Обвал в горах!

Или:

– Будем прощаться! (Бабка, почем водка? Сколько?! Будем прощаться!)

Или он говорит о Пастернаке, сравнивая его, например, с Заболоцким:

– Пастернак-то поглавнее будет! Или после оперы:

– В Станиславского-то фаготы будут поглавнее! Еще он говорит:

– Особенно не груби!

Или:

– Далее по тексту!

Или:

– Обидно и больно!

Или:

– Шли годы...

Или:

– Это вряд ли...

Или:

– Все зола!

Пьяный он поет: «В мокром заду! (Обрати внимание!) Осень забы-ы-ла! Грязный платок! (Что главное!) С мокрой листвой!»

В общем, обвал в горах.

Он очень любит Москву, знает кучу общекультурных подробностей и все время их рассказывает. А поскольку часто бывает пьяным, то не замечает, что рассказывает одно и то же.

Он любит повторять:

– Я люблю свой город! Я не из тех парней, что ссут в подъездах!

Однажды во время пьянки на Трехпрудном он вдруг отлучился. Обнаружил его Владимир

Дубосарский. Владлен Владленович мочился на его, Владимира Дубосарского, дверь.

– Влад! – воскликнул потрясенный Дубосарский. – Ты охуел? Ты же не из тех парней, что ссут в подъездах!

– Особенно не груби! – сказал Владлен Владленович, продолжая начатое. – У меня почки слабые!

Мы не виделись с Лебедевым пять лет. Накануне презентации первого (рукодельного) издания этой книжки Авдей Степанович позвонил ему, чтобы пригласить на праздник. Лебедев обрадовался, сказал, что непременно придет.

– Ну ты как, – спросил Авдей Степанович, – бухаешь?

– Старик, ты же знаешь, я могу остановиться, – сказал Лебедев. – Уйти в себя, поднять классиков. Перечесть Чехова, Бунина... У меня прекрасный вид из окна. Я живу в Северном Чертаново. Обрати внимание – в Северном!..

За пять лет Лебедев не изменился совершенно. Только зуб, который рос посередине, куда-то пропал. Так что верхняя челюсть у него осталась практически без зубов. На презентации, выпив, все толпились на улице. Лебедев беседовал с Леликом Мамоновым, у которого, наоборот, отсутствовали зубы снизу.

– Смотри, – сказал, глядя на них, Авдей Степанович Агафонову, – теперь они могут вместе кушать.

ДРУГИЕ ЛЮДИ

Отправляясь на день рождения к Джону (Александру Сасалетину), мы с Назаровым купили два галстука: один от меня, второй от Назарова. Джон давно звал меня в гости, хотел почитать свои стихи. Мы и отправились.

В большой комнате шумела родня, и мы уединились на кухне. Джон принес вина, водки, закуски. Посидели, выпили прилично. Наконец стал он читать стихи.

Я послушал и, смущаясь ролью критика, высказал ряд замечаний:

– Понимаешь, старик, неплохие стихи, но надо работать над формой.

– Вот и я то же говорю, – поддакивает Назаров.

– Форма в стихе важна необыкновенно, – продолжаю я.

– И я говорю! – кивает Назаров.

Так и беседуем: я делаю замечание, а Назаров со мной соглашается. Джон слушает, напрягаясь, и вдруг интересуется с кривой ухмылкой:

– А вы, случайно, друг друга в жопу не ебете?

– Саша, – говорю я мягко, – мы же по делу разговариваем. Это же не значит...

– А ну идите, на хуй, отсюда! – говорит Джон. – И галстуки свои забирайте!

Ну мы и ушли. А галстуки он в форточку выбросил. Заодно и тот, который ему жена подарила.

Когда убили Джона Леннона, Джон (Сасалетин) – большой битломан – носил на рукаве траурную повязку. Встретил его Александр Болохов:

– Что это у тебя на рукаве?

– Леннона убили!

В тот же день Болохов зашел к Сергею Карповичу Назарову, а у того под обоими глазами по синяку.

– Что случилось?

– Леннона убили, – говорит Назаров. – Вчера зашел Джон, стали мы его поминать. Пьем и «Битлз» слушаем. Джон ставит одну пластинку, вторую, третью. Мне надоело, я и говорю: «Заебал ты со своим Ленноном!»

Я, Давтян и Батманова с большим трудом купили бутылку «Кавказа». Стоим на остановке, ждем трамвая. Рядом стоит мужик, который только что вместе с нами бился у магазина, и тоже держит в руках 0,8. Жарко, трамвая все нет и нет. Мужик нетерпеливо топчется, нервничает. Вдруг срывает зубами пробку и быстро пьет из горлышка. Потом поворачивается к нам и говорит смущенно:

– Хорошее, хорошее вино...

Николай Дубровин продал комнату в коммуналке и попросил товарища помочь ему перенести вещи. После трудного дня они пошли к товарищу домой. Дубровин купил вина, и они немного посидели. Потом Дубровин прилег на диван, а товарищ стал бить свою подругу, потому что она сказала, что им пора пожениться. Дубровин подумал: нехорошо, что он ее бьет, надо бы заступиться. Хотя, с другой стороны, неудобно: человек весь день носил мне мебель!

И не стал заступаться.

Таганрожский художник Леонид Стуканов – атлетически сложенный мужчина с покатыми плечами борца, крупной головой и романтическими чертами лица. У него тонкие губы, орлиный нос, узкий высокий лоб, над которым – тщательно уложенный кок.

Когда он просыпается с сильного похмелья, то включает проигрыватель, заводит Моцарта и, раздевшись до пояса, занимается штангой.

Пили Вася Слепченко и Граф Леонид Стуканов. Пили-пили, пока все не выпили. Стуканов пошел взять еще.

Время было зимнее, темно. Вася посидел полчаса, час – Графа нет. Он еще подождал и решил сходить поискать.

В тридцати метрах от дома он нашел Стуканова. Граф спал стоя, прислонясь лбом к дереву.

Авдей Степанович Тер-Оганьян нашел кусок гимнастического каната. Зашел в гости Ершов. Отличный канат, длинный и новый, произвел на него сильное впечатление.

– Вещь! – сказал Ершов.

Потом они выпили, поболтали. Перед уходом Ершов, вздохнув, сказал:

– Старик, подари мне этот канат!

– Ну, – сказал Авдей Степанович, – мне он самому нужен. А тебе зачем?

– Может, я когда-нибудь буду копать колодец? – сказал Ершов.

Ершова тянуло к коммерции. Одна из громких идей в этом направлении: договориться с мясокомбинатом выкупать у них бычьи мошонки. Яйца выбрасывать, а мошонки сушить и изготавливать из них сувенирные кисеты. В кисетах можно было бы держать табак или донскую землю.

Авдей Степанович Тер-Оганьян и Юрий Полайчев возвращались из Таганрога с выставки. Ехали они поездом – подсели в плацкартный вагон. Оба были пьяными. В том же вагоне куда-то на соревнования ехали украинские борцы – молодые здоровые ребята. Они ходили по вагону в спортивных штанах, с обнаженными торсами. Полайчев время от времени пытался завести с ними беседу. Он моргал из-под толстых линз и говорил, заикаясь, кому-нибудь из борцов: «К-конечно, ты м-м-можешь меня п-п-победить физически! Но я з-зато могу т-т-тебя п-победить интеллектуально!» Борцы не возражали.

Виктор Сосновский женился. К браку он шел долго и вот наконец женился. Мало того, у них с женой родился ребенок. Вскоре они с младенцем собрались в Тбилиси к родителям жены.

В Туле поезд остановился.

– Выйду на перрон, – сказал Витя.

Он вышел. Светило солнце. Через платформу стояла под погрузкой московская электричка Витя посмотрел на небо, на облака, на собак... и спрятался за ларек.

Объявили отправление. Состав плавно тронулся и пошел, набирая ход, к далеким Кавказским горам.

Мы с Давтяном шли в «Лошадь» пить пиво. Навстречу, шатаясь, брела пьяная тетка.

– Мама, пиво в «Лошади» есть? – спросил Давтян.

– Есть, есть, – сказала тетка, – Пока иду, три раза ссала!

Зашла Вика, присела. Взяла один из стаканов, спросила:

– Можно попить? Все как закричат:

– Не пей, не пей! Это вода!

На свадьбе Вики и Сергея Тимофеева, которую праздновали в Танаисе под Ростовом, Вике не повезло два раза. Первый раз, когда она упала со скамейки и Коля Константинов наступил ей на волосы. А второй раз, когда на станции электрички Хатханов решил покружить ее на руках и уронил с платформы на рельсы.

Там же произошел еще один забавный случай. Когда вдали вспыхнули огни поезда, на

перроне все пели и танцевали, а на рельсах, свернувшись калачиком, спала хозяйка конно-спортивного кооператива «Сивка-Бурка» Лена Фиолетовая. Ее вовремя заметили и втащили на платформу.

Алиса попала в вытрезвитель. Посадили ее в чем мать родила к каким-то теткам. Посидела она, пришла в себя. Вызывает ее доктор для беседы и говорит:

– Ты же такая молодая! Зачем пьешь? Хочешь стать такими, как они? – кивает на теток. – Неужели нельзя не пить?

– Доктор, – говорит Алиса, – что мне делать? Я все понимаю, а бросить не могу! Как бросить? Что вы посоветуете?

Доктор задумался.

– Ну, – говорит, – вообще-то есть разные способы. Я, например, закодировался...

Как-то поздно вечером пьяный Дима Келешьян пришел в гости к Вите Касьянову и стал уговаривать его выпить. Касьянову пить не хотелось, но тот пристал, и Касьянов уступил:

– Ладно, иди в киоск. Келешьян говорит:

– Давай бабки, у меня нет.

Касьянов дал денег, тогда Келешьян говорит:

– Ты бы сам сходил, а то мне трудно.

Касьянов сходил. Выпили они, легли спать, и ночью Келешьян наблевал на пол. Утром Касьянов ему говорит:

– Ты бы убрал за собой.

Келешьян говорит:

– Почему я должен убирать? Я же помню, что не блевал!

Подошел, посмотрел внимательно и говорит:

– Теперь точно вижу, что это не я блевал. Я такого вчера не ел!

А однажды там же у Касьянова ночевал Болохов. Утром они проснулись, чувствуют – воняет блевотиной. Поискали, вроде везде чисто. Болохов собрался и ушел. Только к вечеру Касьянов обнаружил, что Болохов наблевал за диван.

Однажды Болохов зашел на Казанский вокзал купить Касьянову подарок на день рождения – порнографические карты, которые он присмотрел заранее в одном киоске. Был Болохов в длинном черном пальто, очках, свои роскошные волосы собрал в узел на затылке. В общем, солидный, благообразный человек. Стоит перед витриной, выбирает, какие карты интересней. Подходят к нему два пьяненьких мужичка.

– Святой отец, благословите!

– Ребята, – говорит Болохов, – я не поп. Но те пристали:

– Благословите, святой отец! – причем почтительно, смиренно.

В общем, он их благословил. Тогда один из них решил покаяться – вот, дескать, святой отец, грешен я, пью, что вы скажете? Болохов говорит – не поп я, ребята, просто у меня такая прическа! Тот опять: вы уж извините, святой отец, что я у вас время отнимаю... Болохову надоело, он говорит:

– Секундочку! – поворачивается к киоскеру. – Мне вон ту колоду, пожалуйста!

Купил, поворачивается к мужикам, показывает им карты и говорит:

– Вот, смотрите, что я купил! Я же говорю – я не поп!

Мужики обалдели. Тот, что каялся, посмотрел на Болохова с ужасом и говорит:

– Ну вы, святые отцы, даете!

Авдей Степанович рассказал мне о художнике Сергее Воронцове, с которым я, к сожалению, не знаком лично. Врачи нашли у него язву желудка и велели пить мумие. Налил он в бутылку от «смирновки» спирта, натолкал внутрь мумие и носил с собой. Поболтает, поболтает – выпьет. В общем, лечился.

Зашел как-то на Трехпрудный. Достал свою бутылку, а там мумие отдельно, а спирт отдельно.

– Смотрите, – говорит, – не смешивается!

Тогда Александр Сигутин взял у него бутылку, спирт слил и налил воды. Мумие сразу же растворилось и получилась неприятная черная жидкость. Воронцов посмотрел и говорит:

– Что я, эту хуйню пить буду? – и вылил снадобье в унитаз.

Квартирный хозяин Авдея Степановича Тер-Оганьяна и Владимира Дубосарского Леня пьет. При этом он часто звонит своей маме. Он снимает трубку, набирает номер и говорит:

– Маманя, бля на хуй, это я!

Однажды у Лени сломался телевизор. Зашел он к Авдею Степановичу, пожаловался.

– Ну, ничего, – говорит, – я с одним мастером договорился. Причем бесплатно. Я ему ставлю – он мне чинит.

– Это ты зря, – сказал Авдей Степанович. – Лучше просто заплати. А так вы нажретесь, и он ничего не починит.

Естественно, приходит телемастер, и они с Леной три дня безостановочно пьют. И понятно, им не до телевизора.

На четвертый день заходит Леня к Авдею Степановичу, садится и говорит сокрушенно:

– Ты был прав!

– Я же тебя предупреждал, – отвечает Авдей Степанович.

– Да, – согласился Леня. – Ну, ничего. Зато я его жену трахнул.

– Когда же ты успел? Вы же пили непрерывно!

– А я заранее!

Однажды Леня возвращался домой. Из-за забора на него залаяла собака. Он припомнил, что если засунуть волку в глотку кулак, то волк рано или поздно задохнется и сдохнет. Леня пропихнул руку в щель и попытался засунуть кулак в глотку собаке. Собака откусила ему ноготь на пальце.

На кухне над умывальником, где обычно вешают зеркало, для красоты висит плакат с портретом президента Приднестровья Игоря Смирнова. Утром Леня умывается, поднимает на него глаза и говорит сокрушенно: «Блядь! На кого я стал похож!»

Дмитрий Врубель несколько раз кодировался. К Викиным родам он как раз в очередной раз закодировался, но, когда она легла в роддом, все коды оказались бессильны. Он так обрадовался, что, даже когда она еще не родила, многие, кто его видел в те дни, думали, что она уже родила, такой он был радостный. Однако, когда она-таки родила, он снова закодировался. Дня через два идут они с Авдеем Степановичем Тер-Оганьяном мимо длинного забора Врубель говорит:

– Смотри, позавчера шли здесь с Леликом и так смеялись! Особенно вон с того столба, видишь? А сейчас смотрю – забор как забор, ничего смешного.

Пьяный Хатханов шел по улице Энгельса домой. У него оставалось немного денег. «Может, взять еще? – думал Хатханов. – Нет, хватит. Лучше куплю Ирке „Сникерс“!»

Пройдя два квартала, он вдруг обратил внимание, что сжимает в руке початую бутылку портвейна.

Игорь Иващенко приехал к нам в гости чистенький, аккуратный. Вынул из сумки тапки. Я говорю:

– Тапки-то зачем вез?

– Понимаешь, – говорит Иващенко, – у меня белые носки. Новые.

Ладно, думаю.

Посидели, выпили. Я ушел спать, а Иващенко с Олей и еще кем-то, уже не помню, остались допивать.

Утром я обнаружил его спящим у входной двери на куче грязной обуви. В темноте белели новые носки.

Моя сестра Юля наблюдала такую сцену: по улице Горького в Ростове торопливым шагом идет Танюшка, позади бежит Иващенко, кидает в нее камни и кричит:

– Пошла на хуй!

Танюшка все время оглядывается, уворачивается от камней и повторяет:

– Игорек, прекрати немедленно! Игорек! Прекрати немедленно!

К Рите на Гвардейскую приехал брат. Пришли гости, принесли вина. Зашел Дима Дьяков, уже пьяный. Ему еще налили и посадили на табуретку у двери.

Вот все беседуют, а Дима дремлет и время от времени вставляет умные реплики. Ритин брат его послушал и говорит с уважением:

– Молодой человек, наверное, ученый?

И тут из-под Димы послышалось журчание, и звонкая струйка ударила в половицы...

Пение способно объединить самую разномастную компанию, структурировать самую бестолковую пьянку. Петь можно коллективно или вдвоем, иногда даже можно петь одному.

Однажды, приехав в Ростов, я купил бутылку вина и отправился в «Журналист», в гости к Евгению Валерьевичу Ахмадулину. Он достал бутылку водки, выпили, поговорили, но как-то вяло.

– Может, – говорю, – споем?

– Сейчас, – отвечает Ахмадулин, – у меня есть! Лезет в стол и достает два песенника страниц по сто каждый. Открыл первый на первой странице: «Эх, дороги!» И мы запели:

Э-эх! Дороги-и!

Пыль да туман!..

Позже, когда кончилось вино и началась водка, позвали двух женщин из бухгалтерии и вчетвером отпели оба песенника, полностью.

Однажды Евгений Валерьевич Ахмадулин купил телевизор. Отметил он с друзьями это дело, остановил машину, положил телевизор сверху на багажник и решил не привязывать – никуда он не денется...

Во времена антиалкогольного указа приходилось хитрить. Уезжая в Москву, Авдей Степанович с друзьями набрали портвейна, но пить на вокзале не решились – кругом милиция. Тогда они купили несколько бутылок «Буратино», вылили содержимое на землю и перелили в бутылки вино. А потом уже спокойно сидели и пили на перроне, прямо возле входа в отделение милиции.

Если говорить о всяких ухищрениях, то, например, Мирослав Маратович Немиров прятал от мамы вино в красивой бутылке из-под заграничного коньяка, в которой торчал пластмассовый цветок. Бутылка для красоты стояла на серванте.

Когда позакрывались многие пивные, а в оставшихся пивом стали торговать исключительно навынос, постоянно возникала проблема с тарой. Трехлитровую банку найти в Ростове невозможно, особенно летом в период поголовной «укупорки». Поэтому в гастрономе покупался баллон сока без мякоти, например березового. Пить сок никто не хотел, и его выливали под дерево, а в баллон набирали пива.

Будущий муж моей сестры – гражданин Америки Джей Маги, когда приехал в Москву стажироваться в режиссерском искусстве, стал часто бывать у нас на Трехпрудном. И как раз начал ухаживать за Юлей. Однажды, когда они поздно вечером возвращались с Трехпрудного к нему на Шаболовку, на эскалаторе станции метро «Октябрьская» он расстегнул штаны, вытащил наружу одно место, стал им размахивать и кричать: «Эй! Я амьериканский чьеловек!» Юля с трудом запихнула ему все обратно в штаны.

Моя сестра Юля ехала в полупустом трамвае. На Горького к ней подсел мужик и задремал. Потом проснулся.

– Зая, где мы едем? – спросил мужик.

– В чем дело! – возмутилась Юля. – Что вам надо?

– Чего ты такая дерзкая? – удивился мужик.

Потом вздохнул:

– А я на всех обиделся, – сказал он грустно. – Ничего никому не сказал, взял вещи и ушел...

В руках у него была авоська, в которой позвякивали четыре пустые бутылки.

ОБ АВТОРЕ

У читателя может сложиться впечатление, будто все мои друзья – люди исключительно яркие, живущие интересной, насыщенной жизнью, а я такой сторонний наблюдатель с холодным, язвительным, умом. Ничего подобного. Со мной действительно не так часто случались веселые истории, имеющие законченную форму, потому что я типичный робкий лель. Мой талант тихий, огонь, горящий внутри моей души, греет ровным теплом, не обжигая внутренностей. Но это не значит, что моя молодость была скучной и бесцветной и я только наблюдал успехи других.

Однажды я пришел к Авдею Степановичу и говорю:

– Какой кошмар, старик! Я вчера в кафе усрался!

– Ничего себе! – говорит Авдей Степанович. – Что, так напился?

– Да не то, – говорю, – чтобы так уж напился. Просто хотел блевануть, а получилось, что усрался!

Два раза в жизни мне случилось описаться. В смысле – уписаться. Одним словом – обоссаться. Причем случилось это в течение трех дней. Первый раз в вагоне метро на перегоне между станциями «Театральная» и «Тверская» Замоскворецкой линии, когда мы с Авдеем Степановичем Тер-Оганьяном возвращались с Киевского вокзала, куда ездили встречать Людмилу Станиславовну, возвращающуюся из Швейцарии. Она в тот день так и не приехала – перепутала число в телеграмме, – а мы сначала пили в вокзальном ресторане коньячный напиток «Баргузин» под скромную закуску, а потом Авдей Степанович стал уговаривать меня продать ваучер. Ваучер принадлежал моей дочке Варечке, жена дала мне его с собой в Москву на черный день. По мнению Авдея Степановича, этот день настал. «Кроме того, – говорил он, – лучшего способа вложения капитала все равно не придумаешь». Мучимый совестью, я продал Варечкин ваучер за пять тысяч рублей. На эти деньги в киоске была приобретена литровая бутылка «Вермут Росса». Это сейчас «Вермут Росса», как и «Бьянка», не в диковинку, а тогда был в диковинку.

Бутылку мы выпили, слоняясь по вокзалу, а на обратном пути в тесном вагоне метро со мной случилась неприятность. Честно сказать, я не очень расстроился, потому что слишком хорошим было настроение. К тому же на мне были зимние штаны из толстого черного драпа, а также кальсоны, и со стороны ничего не было заметно. Гуляние, правда, пришлось прекратить, но мы и так направлялись домой, потому что деньги кончились. От «Тверской» до Трехпрудного два шага, поэтому я не замерз, а дома сложил испорченные вещи в целлофановый пакет и переоделся в сухое.

Через день, вечером, мы уже втроем – к нам присоединился Всеволод Лисовский – зачем-то пошли в кино. Были мы выпивши и в кинотеатре «Россия» первым делом прошли в бар и употребили по полному стакану коктейля – водка плюс «Амаретто» в равных пропорциях.

После фильма, которого я не запомнил, в тесной толпе мы медленно двигались к выходу, когда я почувствовал острое желание отлучиться. Но отлучаться было абсолютно некуда. Видимо, контрольные системы моего организма ослабли под действием алкоголя. Толпа несла меня и уже вынесла на открытую лестницу – ту, что справа, если смотреть с Тверской, и вот там, на первом пролете, выдержка покинула меня.

Брюки и вторую пару кальсон я сложил в тот же мешок и до приезда Ольги ходил в последних брюках, поддев под них спортивные рейтузы.

ЭПИЛОГ

Эту книгу можно было бы продолжать бесконечно, потому что продолжается жизнь, но и того, что в нее вошло, вполне достаточно. Я закончил.

М. Белозор

ВЛАДИМИР РЕКШАН

Прошибшн в России не пройдет

Марина: Так и уедешь без чая?

Астров: Не хочу, нянька.

Марина: Может, водочки выпьешь?

Астров (нерешительно): Пожалуй...

А. П. Чехов. Дядя Ваня

Люди мыслят образами и частично словами. Людям пишущим приходится, в силу

профессии, переводить образы и слова в предложения, писать их слева направо и строчка за строчкой, нарушая тем естественность и яркость впечатлений. Потери компенсируются мастерством и талантом, если таковые имеются, и, словно палехская шкатулка, в итоге предлагается читателю произведение искусства, в котором рассказывается о жизни слева направо и строчка за строчкой. Читателю предлагается игра – ничего дурного в ней нет, как и нет какой-либо связи с реальной жизнью образа и частично слова. В предлагаемых записках совсем мало нарочитого мастерства, в них автором практически не было сделано поправок, кроме совсем уж вопиющих грамматических ошибок. Автор посчитал, что подобная неразукрашенная проза (конечно же, слева направо и строчка за строчкой) больше хранит в себе первоначальных впечатлений, а именно ими он и хочет поделиться с возможным читателем. Автор также понимает всю степень кокетства – ведь дневники пишутся для себя, а не публикуются за деньги, но, повторим, таковы издержки профессии.

Единственное, что сделал автор против желания, – придумал название своим запискам. Сделано это было с целью рекламы, а может, и саморекламы. Но это уже законы долбаного рынка, а не литературы...

Краснорожий финн-стюард прикатил тележку, а Бородатый Андрюша-Дюша сказал:

– Джин энд тоник!

– Джин энд тоник ту, – сказал и я, хоть и не так бодро, но с надеждой.

Так повторялось несколько раз. До Нью-Йорка было лететь далеко, и мы протрезвели до такой степени, что Женя – медицинский директор – не понял. Мы с ним обнимались и целовались.

Когда пересекаешь по прямой не помню какой мост и приближаешься к Манхэттену, то видишь огромную рекламу «Тошиба». Постепенно, подъезжая, на тебя надвигается другая реклама, заслоняя и «Тошибу», и пол-Манхэттена. Это реклама водки «Столичная».

Четверых русских поселили в роскошном доме на берегу Чесапикского залива. Это имение Эшли Папы Мартина. Папа – всеамериканская знаменитость. Он был алкоголиком практикующим, а вот уже лет тридцать пять алкоголик выздоравливающий. Преданий, вообще-то, много всяких, мифов, былин. Чесапикский миф-былина гласит: в нашем доме встречался Джон Кеннеди с Мерилин Монро. Я лежу на кровати, и мне хочется думать, что на ней лежал Джон. Или Мерилин. Или они лежали вместе. Вчера мы расписались в Билле о правах. Одно из прав гласит, что мы не имеем права курить в туалете и вступать в сексуальные контакты. Мы не можем этого делать, поскольку алкоголики. А Джон и Мерилин могли, они алкоголиками не были. Нет, кажется, Мерилин была.

Бородатый Андрюша-Дюша квасил, не просыхая, но врачам заявил, будто десять дней в завязке. Когда его отправили в туалет написать в баночку, мы пошутили: «Сдаст на анализ сто граммов джина с тоником». Женя, частный детектив из Москвы, показывал удостоверение об американском детективном образовании. На дипломе золотая печать. Он занимает соседнюю спальную с Алексисом из МИДа и храпит с ним на пару по ночам. У Жени-детектива давление 195/120.

После завтрака идем в курилку. Лысый южанин шепчет по секрету:

– Сегодня кофе настоящий. С кофеином. Шур! Ко Дню Благодарения парни постарались.

Вот и взяли по стаканчику.

Завитая старушка что-то спрашивает, я отвечаю на плохом английском, но мой английский никого не беспокоит. Все слегка возбуждены – ко Дню Благодарения в молельном доме покажут кино. У нас же в Белом доме и кофе, и телевизор. И по закону о правах пациентов

к нам никто не может заходить без приглашения.

– О, я была в России! – говорит гватемальская красавица Мария (просто Мария?). – Двадцать лет назад. Около Блэк си. Оши? Очи!

– Сочи!!!

– Йес. В Киеве еще. В Москве. Как это... Говер-мент сидит?

– Кремль! – кричим мы. – Красная площадь!

– «Джим Бим» убил мою память.

– У них в Гватемале, – говорит Юджин-детектив, – вся жизнь на сексе. Они трахаются каждый день пять часов без остановки.

– Не может быть, – возмущаюсь я, потому что мне завидно.

Вечером выступает Франческа: первый раз попробовала вино лет в 6-7, угостила мать на праздник. Ощущение яркое. Отец алкоголик, но так не считает. В хай-скул выпивала по выходным и в более взрослой компании. В колледже пила каждый день. Скрытно. Вышла замуж. Трое детей. Сложности с мужем. Могли не разговаривать по несколько месяцев. Он ее иногда бил. Иногда просто молча насиловал. Открыла для себя наркотики. Даже закончила курсы медсестер, чтобы работать в медицине и быть ближе к таблеткам. Сама себе выписывала рецепты. Когда муж в очередной раз избил, ушла из дома с большой бутылкой. Поставила рядом с собой перед тем, как вырубиться: не подумают, что наркоманка. Муж скоро умер от сердечного удара. Хотела тоже умереть. Каждый раз, когда просыпалась живая, проклинала Бога. Были контакты с Анонимными алкоголиками, но отнеслась к программе «Двенадцать шагов» несерьезно. Снова запои, клиника. Случайно попала в Эшли. Нарушала режим. Пыталась уйти, но вдруг подумала: «Куда?» Зашла в часовню и стала кричать на Бога. Когда устала, встала на колени и попросила: «Спаси». Так сделала Первый шаг. Теперь работает в клинике, один из руководителей. Уже не молодая, но ухоженная, корректная женщина с печальным лицом.

В курилке исполнили с Бородатым Андрюшей-Дюшей классическую русскую шутку-джок. Закурили «Беломор». Жуткое табачное облако поползло над столиками, неся запах русских пивных и цехов. Американский народ, алкаши и драггеры, затихли, обернулись, а юная алкашка из Техаса спросила:

– Парни, это что – сигарос?

– Это папиросас, – ответил Дюша, а я уточнил:

– Папиросас русских узников, которые прорыли Беломорканал в 20-30-х.

– Без марихуаны, – сказал Дюша.

Американский народ помалкивал. Рок-н-рольного вида алкаш попросил:

– Курнуть можно?

– Шур, – ответил я и протянул пачку.

На запах прибежала женщина с рацией, местная сека за народом.

– Это без кайфа, – сказала деваха из Техаса. Женщина с рацией поверила, но не очень.

– Надо окурки убрать, – сказал я.

На утренней лекции Папа пошутил: «Если будете пить – помрете. Я похороню вас бесплатно и буду молиться за вас. Но надеюсь, это будете вы, а не я». (Аплодисменты.) А вечером приехал профессор математики и рассказывал, как бился в белой горячке. «Алкоголик всегда путешествует по чувству вины. Только у психопатов нет чувства вины. Это чувство – разрушитель».

Алексис рассказывает, как вылетел из МИДа:

– Два месяца на больничном пил с соседними урками. Взял список тех, кого курировал, стал звонить и занимать деньги – заболел, мол, подкиньте на неделю. Уркаганов отправлял по адресам. Все местные бандиты квасили на деньги дипломатов. Меня мать вычислила и домой увела, а уркаганы продолжили звонить по спискам и собирать деньги на пьянку, ломиться в двери к будущим консулам. Меня в КГБ вызывали – в чем дело? шантаж? Из МИДа по собственному желанию полетел. На партсобрании факали со страшной силой. ОБХСС зацепило – использование служебного положения и так далее... Я уцелел, но без работы. Так и началась полная задница. Полет в бездну, головой в дерьмо. Семнадцать больниц за три года.

Текст утренней молитвы-медитации?

*Боже, дай мне разум и душевный покой
Принять все, что я не в силах изменить,
Мужество изменить то, что могу,
И мудрость отличить одно от другого.*

Эшли входит в десятку лучших подобных центров страны. На открытие десять лет назад приезжала жена президента Нэнси Рейган.

Двадцать седьмого ноября в наш дурдом приехали алкаши из Хав-де-Грейса на вечернюю встречу. Дождь стал ливнем, и по дороге в церковь мы совсем промокли. Командовал парадом молодой алкаш с выправкой и голосом сержанта морской пехоты. Он им и оказался. И без перевода общий смысл жути жизни сержанта удалось уловить. Алкоголь анонимен, как и Анонимные алкоголики, и он бьет наповал, не разбирая национальностей и рас.

*Доверься Богу!
Очисти свой дом!
Помоги ближнему!*

Рядом с Эшли чья-то вооруженная вилла. Так и написано на щите в начале дороги, проложенной за нашим домом: «Частное владение! Мы вооружены. Просим без приглашения не беспокоить. Стреляем без предупреждения», – такой приблизительно перевод.

*Сторож дядя Вася333
меж берез и сосен,
как жену чужую,
засосал 0,8.*

Мы в Белом доме – унесенные ветром. Иногда пробивает в мозгу – какая-то Америка? что за Чесапикский залив? кто я, вообще, такой и что делаю здесь? Я здесь осваиваю программу Анонимных алкоголиков – это понятно. Я почти на месяц поселился в причудливом изобретении человеческого разума. Эшли – это дворцово-храмовый центр алкоголизма. Роскошные дорогие здания, картины в золотых рамах, медсестры в белых халатах и экуменические, а хочешь – католические, православные, иудайские, мусульманские или

еще какие службы. Это место, где об алкоголе и наркотиках говорят как о достойных противниках круглые сутки, где имя врага твоего на устах твоих каждый час, где на групповых и общих митингах прежде, чем сказать что-либо, ты должен представиться по форме, что я и делаю:

- Май нейм из Владимир. Ай эм из алкоголик, – а все хором подхватывают:
- Привет, Владимир!

Папа Мартин шутит:

– Мать будит сына: «Вставай, Джон! Тебе пора в школу». Сын прячется под одеяло: «Не хочу. Они ненавидят меня, бросают в меня камнями». Мать срывает одеяло: «Какого черта! Вставай! Тебе тридцать четыре года, и ты в этой школе директор! Будешь знать, как пить по уикендам!»3333

24 ноября. Воскресенье. В Эшли родительский день. Пузатый секьюрити предупреждает с доброй улыбкой, что передачи станет проверять, что встречаться можно лишь в отведенных местах и т. д. Родители великовозрастных алкашей и драггеров, невесты и жены, дети гуляют под ручку вдоль Чесапикского бэя, сидят в беседке или в золотых залах Бентл-холла, читают свежие газеты, которые подвозят лишь по выходным. Нам на обеденный столик положили любовно газету со статьей про русскую армию – деморализована она, обезлюдела и прочее. Читать все это не хочется. Мы – унесенные ветром. Пусть так и останется хотя бы ненадолго.

Да здравствует клубника, бананы и всемирное алкогольное братство. Но где-то в глубине субстанции, называемой душой, безнадежно звенит одинокая струна – а к нам-то никто в родительский день не приехал. Понятно, что это совсем уж невозможная штука. А все-таки жаль.

В понедельник митинг-грэтитьюд. Обстановка торжественная. После Папиной речи, которая полна анекдотов и шуток, выпускники Эшли выступают со спитчами. Черный американец лет сорока – костюм, галстук, нарядная жена тоже вышла к трибуне – прочел спитч, полный благодарности. За ним еще несколько человек прошли через церемонию. Юджин-детектив и я оделись в костюмы, а Бородатый Андрюша поверх белой рубахи натянул артистический жилет.

Сегодня прошла интенсивная русская группа. То-кали про наш алкоголизм. Алексис из МИДа, он же наш консультант, помогал переводить схему из учебной брошюры.

– Здесь все нарисовано, – объяснял он, и мы разглядывали картинки. – Что питает алкоголизм? Гордыня. Злость. Зависть. Похоть...

На Чесапикском заливе опупенной красоты восходы. Апельсиновым джусом часов с шести заливается кромка горизонта. И закаты такие же: быстрые, как в Сухуми. Полная луна выкатывается на небо и серебристой дорожкой, словно копируя «Ночь на Днепре», умножается в заливе. Алкогольно-дворцовый комплекс Эшли подсвечивается с улицы фонарями. Газоны подстрижены, собаки эшлинские иногда выкатывают на улицу свои откормленные тела. Сегодня привезли Деда Мороза, ангелов и лампочки. Скоро Кристмас и Новый год. На дворе 12 градусов по родному Цельсию.

Утром 2 декабря опять тепло. Рядом с Эшли поле, на котором собираются тучами перелетные птицы. А 1-го ездили в соседний городок. Нарушение режима обусловлено серьезной целью. Предполагалось взять напрокат гитары до следующего понедельника. В понедельник торжественный ланч в честь Луиса (Лу) Бентла, на чьи деньги и построен Бентл-холл – центральный алкогольный дворец.

Гватемальская Мария.

Техасская Шери.

Смешные они все-таки, американцы. Утром все друг другу кричат: «Монинг!» Представьте себе картину в России: идешь по улице и встречным вопишь: «Утро! Утро! Утро!» – а тебе в ответ: «Утро-утро!» Захожу я вечером в Бентл-холл, а язык как-то сам выбрасывает приветствие кастелянше: «Монинг! Утро!»

Каждый вечер на общем митинге кто-либо из персонала рассказывает историю своей жизни. Когда это слышишь изо дня в день, то как-то затухает русско-народный апломб по поводу мощи и глубины нашего пьянства. Становится даже обидно, как будто лишился последнего достоинства державы... Х. пила, драгталась, детей отобрали, муж бил до увечий. Другой бил опять до увечий – сломал нос, ноги, отбил позвоночник. Муж вернулся из каталажки и потащил с собой. Отказывалась. Тогда достал нож и сказал, что убьет детей. Ушла. Снова избил. Попала в Эшли. Теперь работает здесь с фанатизмом и благоговением перед Фазером.

Приехали на вечерний митинг из соседнего городка две белокурые телки: вместе квасили, старшая воровала одежду из супермаркета, пропивали. Внешне еще держались, но уже таскали деньги из детских копилочек.

Вчера подсел за обедом Толстый Билл. Проработал в НАСА двадцать пять лет, на правой руке золотой именной перстень за отличную работу. Шестнадцать лет назад НАСА отправило лечиться. Теперь он на пенсии и преподает трезвость в Эшли. Рассказывал, будто по пьяни все путал имя: вместо Билл – представлялся Фил. Прилетел как-то на родину предков в Ирландию. На шее толстая цепь с медалью «10 лет трезвости». В аэропорту подходят торжественно и спрашивают: «Вы итальянский посол?» – «Нет, я ирландский алкоголик». – «Вы ирландец! А похожи на итальянца». – «Попили б двадцать пять лет – и вы бы стали как итальянец».

Сочинил музыку на утреннюю медитацию «Сиренити Прэй», хочется, чтобы понравилось людям.

Каждый день набивают холодильник продуктами сверх жратвы в Бентл-холле. Население Белого дома устало есть. Вчера тетка-набивальщица спросила: «А сувениры есть?» Сбегал наверх и принес авторучку и матрешку.

Шерри на «колесах» с двенадцати лет. Поджарый, с бородой, сотрудник ФБР.

В Балтиморе дождь. Перед этим мы соскочили с субботней лекции, и Весе отвез нас в город. Весе ударился макушкой о дверной косяк микроавтобуса. Разбился до крови, но к медсестре не пошел. «Старый стал. Так и уволить могут».

Мы с Юджином сходу впилились в порнопереулок. Метровые члены и надувные влагиалища. Кассеты. Клубы. Бабы. Обдолбанные черные и белые. «Эх, махнуть бы по стаканчику», – мечтательно говорит Юджин. «Что ты!» – в ужасе отвечаю я.

Холодно и хочется домой. Белая избушка и кровать Монро становятся настоящим домом.

Майк Х. – шеф-повар. Пьяница и бандит-убийца. В роговых очках и галстук-бабочке.

Врач-филиппинец имеет дипломов восемь с золотыми печатями, которые висят по стенам его кабинета. Он, думаю, единственный здесь неалкоголик. Несерьезный человек. Сказал мне: «О! У тебя хороший дантист». Я и сам знаю. В писательской поликлинике столетняя прабабушка трясущейся рукой со сверлом потянулась к моему рту – я и убежал. Я летом пьяный от хорошей водки играл на гитаре, крутил ее между тактами, коронный номер, и выбил пломбу из переднего зуба. Хожу теперь, как сифилитик.

С поста президента компании на пенсию уходит Луис. Он останется в совете директоров, и у него будет больше времени заниматься алкашами. Эшли ждет к ланчу выздоравливающего миллиардера Лу оказался пожилым, поджарым с внимательными глазами мужчиной без внешних понтов. Курит сигарету «Кул». Готов к беседе, если тебе есть что сказать.

А перед ланчем прошел большой выпускной митинг. Агент ФБР читает спич. Его коллега по агентурной работе тоже благодарит. И жена здесь.

Высокий веселый парень. Говорит. Говорят его отец, мать, брат, тетя. Брат и тетя – выздоравливающие алкоголики. Техасская Шерри плачет. Почти все роняют слезы. Ах эти сентиментальные американцы. Плачет гватемальская просто Мария. У нее сорок тысяч голов скота, и за ней на ракете прилетели папа, мама, дети. Любимого что-то не видно. Вот они, ежедневные пять часов!.. Крутой парень в наколках бубнит крутые комплименты.

Фазер Мартин слушает внимательно. Все должно быть по правилам.

А ланч сегодня удался. Мой спич:

«Леди и джентльмены! Кажется, впервые в жизни, оказавшись в Эшли, я почувствовал определенную гордость за то, что я алкоголик. Столько прекрасных людей вокруг, прекрасный персонал, консультанты, всех перечесать по именам просто не хватит времени, и все... алкоголики...» (Аплодисменты.)

С Бородатым Андрюшей спели две песни. Атомный успех и очередь за автографами. Идея, мать твою! Сочинить с десятков песен на американские алкогольные (трезвые) тексты и записать альбом. Луис Бентл так и сказал, проходя мимо: «Надо подумать о записи...»

Умеют американцы устраивать праздники. Что ожидает русского трезвого алкоголика? Унылая трезвость. Все праздники достаются пьяницам.

В субботу Леонард Дол, директор реабилитационного центра, отвез нас в Балтимор и оставил на два часа в суперпупермаркете, где мы надыбали однодолларовую распродажу. А после суперпупера мы в женской гимназии свободных искусств слушали концерт фольклорного ансамбля. Добрый, ненавязчивый, никакой концерт, после него хочется жить и жить приятно. Леонард привез несколько разноцветных коробок с едой для бедных. Ее приносили все, кто может и хочет, складывали при входе на стол. Бедным на Рождество.

Перед возвращением посидели в итальянском ресторане. Гигантское блюдо под названием «сенатор». Как-то так. Замечательное мясо, политое грибным соусом и нашпигованное шампиньонами. Юджин-детектив рассказывает бесконечный анекдот на ломаном английском, и нам становится страшно.

Леонард, оказывается, читал Булгакова.

– Ваш писатель пишет, как наркоман, – говорит этот профессорского вида мужчина.

Действительно, вспоминаю, что у Михаила Булгакова есть рассказ «Морфий», в котором достоверно описаны ощущения наркомана. Такое вот неожиданное литературоведение.

Двенадцатого декабря опупенный вид с виадука на небоскребы Балтиморского сити. Но и ветер будь здоров. Холодное дыхание севера. На подъезде к Вашингтону шестью шпилями модерново стартует в небо новая мормонская церковь. Мы едем на выборы в посольство не оттого, что нас так уж волнуют проблемы чужих амбиций, а потому, что есть хороший повод попасть в столицу США. Территория посольства – это территория России. Чем-то родным пахло. Тетки в манто пришли защищать дело демократии в обновленной России. Русская речь и меню в профсоюзном буфете. В небольшом зале столики со списками, а на стене биографии кандидатов – Иванов, Петров, Сидоров, Рабинович, все хорошие люди, за демократию и экологию и еще за социальную справедливость, – и партийные списки. Откровенный бред по неведомому мне московскому избирательному округу. Что-то поотвык я от Валдайской возвышенности.

В буфете уже веселее. Там «Салем» по доллару за пачку, когда на улице по два-три, бесплатный кофе и демпинговая водка. Как в СССР когда-то, когда заманивали делать 99,8 % «за»...

Билла Клинтона мы не видели, а Белый дом – да. Напротив посреди улицы бегают черные граждане спиной вперед. Тут же нищие. Денег уже не просят, а просто живут в шалашах. Японцы тучами.

Женя – медицинский директор и Боб – денежный директор прикатили в Эшли, вернувшись из России. Питерские новости и фотки.

Мы обнимаем всех и целуем. Мы любим всех и никогда не забудем. Прощай, Эшли, Папа-Фазер, Леонард, Чесапик-бэй, стейки и мандарины. Порыли в Нью-Йорк!

Три часа дороги под хороший рок-н-ролл и русскую попсу. Боб – денежный директор – ставит «Любэ» и оттягивается под то, как надо б им вернуть нам Аляску. Он отпускал руль, хлопал в ладони на скорости 75 миль (предельно разрешенная – 55 миль), кивал согласно – забирайте, к туруру, взад!

Нью-Йорк пополз из-за горизонта, как Мамай и Золотая Орда. Я хорошо ориентируюсь в лесу, но тут потерял и север, и юг. Мы совершили несколько петель, высадили медицинского директора и порыли дальше.

В городке Гринвиче было тихо и пустынно. В гостинице «У Говарда Джонсона» Боб прописал, если так можно выразиться, нас в номерах 235 и 236. Удобное стандартное жилище без наворотов, с минимумом максимальных наших российских запросов. Но не тут-то было. Внизу на вахте, справа от стойки, стеклянная дверь. За дверью Боб забил нам местечко в ресторане на ужин и распрощался до утра. Мы сбегали в дешевый «Вулфорт» на часок, где привычно съехала крыша и пришлось закупить всякого говна, исходя из толщины кошельков. Я купил вещь одну – говеную, но маленькую.

Короче. После «Вулфорта» в городе Гринвиче у «Говарда Джонсона» была большая махаловка. Ресторан, куда нас ангажировал Боб, назывался «Тадж-Махал». Мы сидели в ресторане одни. Все-таки без женщин лучше – нет никакого желания напиться. Вежливый индеец принес много всяческой индийской еды, от ее обилия я стал медленно умирать. Знать бы, что именно такой придет смерть. Мы съели ламу, курицу, тэдж-салад, креветок, ядовитую приправу, рахат-эскимо-лукум-айс-крим-шербет, выпили воды из гималайского льда, кофе, ти, коку, манго, бля! Дюша кричал: «Вейтер! Еще воды и льда!» Опустили мы Институт алкогольных проблем на двести баксов, за что и получили на следующее утро мелкий втык. Полночи по ТВ убивали полицейских и наоборот, но сон пришел глубокий и безмятежный.

Утром Боб отвез нас в институт. Мрачный медицинский директор жаловался на жизнь:

– Опять идти на прием. Будут Форды, Киссенджер, будет всякая знать. Надо такседо, смокинг чертов брать с бриллиантами напрокат!

Бородатый Андрюша стал звонить в Россию, продолжая тем опускать институт, а после мы делали очередной шопинг. Были приобретены долгоиграющие пластинки по двадцать центов, книги по пятьдесят центов, ботинки за двадцать девять долларов, гитара с чехлом за почти четыреста долларов. Короче, накупили всякого говна.

Вечером ужин под названием «пати» у Джима Кесседи, разбитного парня лет тридцати, любимчика Луиса-Лу. Джим возглавляет в компании работу по помощи служащим. Имеются в виду алкоголики и наркоманы. Именно через него компания финансирует институт.

Джим год назад купил дом на берегу ручья, отремонтировал, теперь гордится им, показывает комнаты, сам ручей и проч. У него блондинка-жена и двое детей – малютка и сын лет четырех-пяти. Сын веселый, медноволосый, снимается для рекламных журналов – Джим показывал альбом с его фотографиями. Парень, если взять за образец американские стандарты, круто начинает жизнь.

В гостиной камин, стеклянная стена с видом на ручей, диван, кресла, книжный шкаф. А на столе, между прочим, подборка фотографий в золоченых рамках. Джим и Джордж Буш. Джим и Рональд Рейган. Миссис Нэнси Рейган с одним из детей Джима на руках. Сенаторы всякие, губернаторы и плантаторы. Да, парень тоже неплохо начинает жизнь.

На барбекю прибыли гости. Луис с женой Вирджинией – замечательной жизнерадостной женщиной; Евгений Зубков, утомленный бесконечными приемами русский директор; Моррис Руссел – тоже в многолетней завязке, возглавляет в Ю-Эс-Ти секьюрити, а когда пил, работал в ФБР чуть ли не полковником...

Прохаживались с кокой. Нас спросили про выборы. А что нам выборы?

Джим поставил стулья.

Началась сидячая часть.

Ели окорок, который отрезали сами. Про еду говорить сил уже нет. Просто ели.

Жена миллиардера Джинни вместе с женой Джима собирали грязную посуду. Юджин-Московский сказал речь-тост, как тов. Брежнев, я раздал присутствующим пред рождественские сувениры.

– Мой друг-алкоголик художник Лемехов просил подарить американцам свои работы!

С картин Лемехова выглядывали жутковатые хари. Лемехов великий мастер харь – хари прошли на ура. Затем спели с Дюшей несколько песен. Миллионеры и миллиардеры подпевали и хлопали. Вылез в конце и Юджин-Московский, как Кобзон, спел тюремную песню, как Аркадий Северный, похлопали и ему. На прощанье, чтоб мы не рвались к индусам (кто этих русских знает?) пировать дальше на институтские деньги, нам завернули мешок еды и, пожелав Кристмаса в Нью-Йорке, отправили к «Говарду Джонсону».

Сон от обжорства глубокий и от обжорства же тревожный.

Утром Бородатый Андрюша сказал:

– Ты вчера правильно придумал! С утра в «Вулфорт» свежий товар, наверное, подвезли. Рванули-ка в лабаз, пока Боб не приехал.

– Нет, – ответил я, – хватит. И так уже кучу говна накупили...

Я оказался, как всегда, прав. Иногда и от лени выходит толк.

Боб сказал нам «монинг» и повез к Луису-Лу, который хотел с нами попрощаться...

Чтобы описать жилище четы Бентлов, следует быть архитектором. Моего же запаса слов хватит на следующее: в прихожей каменный пол, деревянные стены кремового цвета, столик с китайской вазой и возле столика медно-золоченый олененок в натуральную величину. Слева что-то вроде кабинета, где роскошный стол, книжный шкаф с серебристыми фолиантами – Лео Толстоуи, Данте, Свифт. Картины на стенах – жанровые сценки из времен гражданской войны между Севером и Югом. Джинни, сидя на роскошном диване, заполняет анкеты на поездку в Кению. Охота на слонов, думаю.

– Хай! Как делишки!

– Монинг! Хау ю дуинг?

Луис-Лу проводит нас по дому. Ливинг-опупеть-зал, отделанный дубом. Дубовый бар. Диваны, кресла, елочка в углу. Елочку украшала игрушками домработница. Луис нажимает кнопку – стена отъезжает. Огромного вида ТВ для гостей. За ливинг-опупеть-залом комната с клавишином, потом бассейн с телевизором. Потом в подземном этаже с бильярдом рассматривали коллекции спортивных наград. В ванной комнате ящики с вином для гостей и черт-те что еще. Потом наверху комната дочери. Та вышла замуж и уехала. Потом еще коридоры, объемы, много воздуха и дизайнерского блеска. Одним словом, нормальный американский миллиардер. Один из крупнейших спонсоров алкоголиков в США. Сам пил и чуть не помер. Если придерживаться терминологии А.А, Лу – выздоравливающий миллиардер. Есть такая правда: в алкоголизме равны все – бедные и богатые.

В итоге мы вернулись в кабинет, куда нам хозяин вынес костюмов в подарок к Рождеству. Есть теперь у меня и Бородатого Андрюши по паре миллиардерских костюмчиков.

– Эй, Лу! – воскликнула Джинни. – Только мои жакеты не отдавай.

(Через пару лет после записи на студии мне захотелось отблагодарить старинного друга-музыканта, и я переподарил один из костюмов. Довез человека с подарком до дома. Друг вышел и побрел, шатаясь, через жутковатый питерский двор, в одной руке держа костюм миллиардера, а в другой – недопитую бутылку паленой водки. Про Дюшины же наряды не знаю. Дюша умер прямо на сцене перед концертом. С гитарой в руках. На боевом посту. А Бентл каждый год приезжает в Питер, потому что при его финансовой помощи открыт реабилитационный центр неподалеку от города, одним из руководителей которого является Алексис из МИДа...)

День был сумрачный и прохладный, но все равно «еще один день без зимы». Через полтора часа мы уже въехали на Хилл оф Хоуп – Холм Надежды, где располагалась Хай Вотч Фарм. Здесь уже платили не по 500 долларов в день, а по четыреста в неделю. Здесь нет золотой роскоши – здесь ферма, хоть и с кондиционерами, теплыми отхожими местами, сигаретным автоматом, факсом и пр., но хранящая трепетный первоначальный дух движения АА.

Стилизованное под конюшню или – не знаю – элеватор здание столовой, в котором за крепкими деревянными столами после трапезы режутся в карты, курят, смотрят по телику «муви» постояльцы. Здесь же после, ланча проводят общие митинги.

Директор фермы суров, но справедлив.

Капитан Билл сошел с гор – свирепый с виду хантер.

Еда обильна до безобразия. После регулярной порции в зал выносятся корыто с отбивными или чем другим, что готовят на обед, – есть не хочу.

Пара дедов и здесь дремлет на стульях, но народ в основном попроще, демократичней. Много нью-йоркской публики. Одна беременная месяце на седьмом. Манхэттенский интеллигент с украинскими корнями. Пара хиппарей и т. д.

Через день вечером покатали на выездной митинг. В церковной комнате за красиво убраным столом предавались шерингу.

– Своим алкоголизмом я обязан американским писателям Хемингуэю и Фолкнеру, – сказал я под одобрительный гул алкашей и драгтеров. – Американцы меня споили, американцы же и помогают протрезветь. Баланс восстановлен.

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Завтрак

Факультатив

Собрание группы в столовой по книге «Жить трезвым»

Духовные чтения в часовне

Ланч

Большое общее собрание Отдых

Обед

Выездная группа

Глубокий сон

Гинеколог с пробором живет тут с февраля.

Седой директор фермы улыбается редко. Говорит он монотонно, негромко, но все слушают. Это не утонченный Леонард, но здесь и не Эшли. Он директор Хай Вотча уже семь лет.

Вернулся с приема, к которому так готовился, Женя – медицинский директор. Говорит:

– Я себя там чувствовал, как деревенщина. Смокинг съезжал все время набок. Ширинка расстегивалась, и сваливались брюки. Я как встал к стене, так и простоял весь вечер. Они за несколько часов съели наш годовой бюджет. Котлетки из новорожденных ягнят! Долларов сто за порцию!

За столовой могила русской женщины: «Анна Дукельская. 1891-1942». Да, поразбросало народ. Русская могила в горах Кента.

В субботу вечером открытый митинг в Хай Вотче. В переводе на русский Хай Вотч – Сторожевая Башня. С нее строго следят за окрестностями. Человек двести приехало на карах. Трибуна и микрофон. Ветераны трезвости. Докладывает старушка о своем пьянстве. Я пою «Сиренити Прэй». А Дюша, ошибаясь в тексте, еще две песни на английском. После он поет уже на русском. А меня в конце просят повторить «Сиренити Прэй». Так, глядишь, она и станет хитом американских алкашей.

Рассказал свой российский сон. О том, как сперва пил с Ричардом Никсоном, а потом – с Борисом Ельциным. Большой успех.

Утром снег повалил огромными хлопьями. Как бы не замело нас здесь до весны. По снегу мистер Женя может на гору и не подняться.

Персонажи:

а) Панко-блюзовый волосатик. Заводной, как Джон Леннон. «Ненавижу Рейгана и Буша! Они работают на богатых!» Получал, как наркоман, 300 долларов пособия в месяц и талоны на еду.

б) Врач-наркоман, лишившийся лицензии. На всех митингах выступает по несколько раз. Похож на Алексиса, но тоньше в два раза.

в) Глория. Всем улыбается. На Т-шотах и куртках вышито «психо».

г) Спортивный комментатор. Объездил весь мир. Был в России. Давно в завязке. Почувствовал напряг, искушение-темпейшн, и скорее в Хай Вотч.

д) Итальянец-повар. Был мафиози, имел 10 000 долларов в неделю. Наркотики, алкоголь. Все потерял и жил на свалке. Перед Рождеством как-то надыбал банок, сдал за центы, пошел в магазин за бухлом, а там табличка: «Закрито по случаю Кристмаса». Вспомнилось детство, елка, подарки. Проплакал весь день. Когда-то слышал про АА. Нашел дом, где собираются алкаши на митинги. Проспал под дверьми все Рождество. Его нашли, отправили в больницу, а затем в Хай Вотч. Теперь здесь живет и готовит опупенную еду. «Пришлите ко мне Майка Х. из Эшли! Я его готовить-то научу!»

Программа АА «Двенадцать шагов» интересна тем, что не только помогает людям бросить пить, но и старается объяснить, зачем бросить и как жить трезвым.

Потом был Нью-Йорк, но про него писали все. После Нью-Йорка был Мичиган, но это мое личное дело. Потом финский самолет прилетел меня в Россию.

В России же пьяные все, скоро все передохнут от пьянства и трест лопнет. Краснорожие грузчики в аэропорту, краснорожий лидер на телеэкране. АА принципиально против участия в каких-либо политических акциях, дискуссиях о сухом законе-проибишне и прочей активности. Они говорят – думать стоит только о себе и своей трезвости. Я и думаю, буду думать, пока хватит разума и здоровья. А его хватит до первой травы дотянуть. Накопил в битве за американский урожай. А потом весна, грачи прилетели. Потом жизнь покажет. Одно ясно – проибишн note 1 в России не пройдет.

23 ноября – 31 декабря 1993 года

Р. С. Прошло уже более десяти лет. Целую историческую эпоху я наблюдал трезвыми глазами. Ко многому я теперь отношусь по-другому. Неизменным осталась вера в одну простую истину, услышанную еще в Америке от трезвого алкоголика: «Каждый когда-нибудь бросает пить, но некоторым это удастся сделать при жизни».

АЛКОГОЛЬ (Вместо послесловия)

Недавно на презентации сидим тесно за столом, бурный разговор, я, как всегда, пью минеральную воду. Вокруг люди добрые пьют водку (хотя уже лет восемь как-то странно: за весь вечер пару бутылок не допьют. В мое героическое время каждый выпивал эту пару бутылок). Очередной раз отхлебнув из пластмассового стаканчика, я понял, что перепутал, взял чужой стакан, и во рту у меня водка. В смятении я принял такое решение: не выплевывать при всех, а пойти в туалет промыть рот. Пока выбрался из-за стола, дошел – началось. Водка начала всасываться через ротовую полость, да и выпилось немножко; время стало тормозиться вплоть до стоп-кадра, за каждый пройденный шаг я многое успел прочувствовать и понять.

Каждая молекула алкоголя, проникшая в меня, несла светлую, очищающую волну радости, здоровья, таланта – всего того, что я потерял за девять лет полной трезвости, дурак, сколько времени зря упущено!

Свежесть и энергия танцевали во мне, все вокруг обрело утерянную красоту, устойчивость, множество волнующих смыслов.

Водка (какое убедительное, твердое слово!) на презентационном столе была святыней, брошенной псам, никто из там пьющих не любил и не понимал ее так, как я, – лениво попивали, чтобы слегка расслабиться, осоветь, отупеть; да и что такое две бутылки? Две бутылки «не нужно всем, это нужно одному» (как с надрывом кричал Кайдановский в кинофильме «Свой среди чужих и т. д.»). Запретить нужно впустую тратить водку, как в исламе – там пить можно только избранным, самым арабским словом «алкоголь» суфии обозначают внутреннее учение, закрытое для непосвященных.

Оттого пьяные так неприятны – пьет кто ни попадя, а не всякому это можно позволить. Обрети силу, мудрость и владение собой, тогда и спивайся. (Не удержусь, еще один кинофильм процитирую. В «Пьяни» поклонница-журналистка упрекает поэта Микки Рурка: «Хватит пить-то! Садись пиши. Пить-то всякий может». А тот ей: «Да нет, мать твою, не всякий! Это не пить – всякий может, а пить – нет, не всякий!»)

1

«Сухой закон» в США в 1920-1933 гг.

Можно ли пить, нельзя ли пить – горькие, невозможные вопросы. Тут все наоборот. Кому пить можно, для кого это безболезненно – тому это, в сущности, не нужно, бесполезно, как об стену горох. А кому пить нельзя, кто принадлежит к таинственной мутации, алкоголикам – для того это мощная, опаляющая сила.

«Все ценные люди России, все нужные ей люди – все пили как свиньи», – писал классик. Ну ладно, это Веничка Ерофеев, это, типа, юмор, но вот Карл Густав Юнг – сам не пил и серьезен был, но в ходе попыток лечения алкоголиков пришел к сходному выводу. «Взыскание целостности» – так обозначил алкоголизм Юнг, жажда настоящего алкоголика – это эквивалент духовной жажды, которой горели высочайшие светочи... ну и так далее.

Апология алкоголя, от Тао Юань Мина до Чарлза Буковски – грандиозна, это вершины литературы, написанные алкоголиками (для алкоголиков), а против – один только академик Федор Углов.

Да, алкоголики неприятны в общении, а особенно в общежитии, хоть и совсем по-другому, чем простые глупые пьяные. Но всякий «ушибленный звездой» неприятен в общении. Вы были знакомы с настоящим гением? Да почитайте их честные жизнеописания. Я уж не говорю о пророках и юродивых... Тут совершенно справедлива китайская мудрость: «То, у чего велика лицевая сторона, велика и обратная». А приятны в общении только посредственности, поклонники Дейла Карнеги. Или уж святые-Алкоголики непродуктивны и неработоспособны, скажут мне. Да, хотя собрания сочинений Фолкнера и многих других алкоголиков выглядят основательно, все же да. Пожалуй. В смысле – алкоголики не делают карьеры, это еще одно достоинство алкоголизма. Они не хотят. (Если кто хочет карьеры, например Ельцин, – алкоголизм не помеха.)

А здоровье? Девять лет трезвости принесли мне инфаркт, язву желудка и все, что полагается мрачному, угрюмому, трезвому сволочуге, а сейчас какие-то молекулы водки распирают меня забытым ощущением молодости и бесконечного здоровья – я физически чувствовал, как рассасывается холестерин в кровеносных сосудах, как зарубцовывается язва (да, алкоголь так и действует на холестерин и язву, научный факт), гибкое и упругое тело движется уверенно и легко, вот я плавно и быстро вхожу в туалет, энергично выплевываю водку и промываю рот. Возвращаюсь к столу и накладываю салат. Ем. Еще накладываю. Демон неохотно отлетает от меня и растворяется в воздухе.

Владимир Шинкарев